

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
Ministry of Science and Higher Education
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Pitirim Sorokin Syktyvkar State University”
(FSBEI of Higher Education Pitirim Sorokin SyktSU)

Человек. Культура. Образование **Human. Culture. Education**

Научно-образовательный и методический журнал
Research and instruction journal

*Входит в перечень ведущих рецензируемых изданий ВАК
Минобрнауки РФ (Перечень ВАК)*

*On the list of leading peer-reviewed publications of the Higher Attestation Commission
under the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
(Higher Attestation Commission List)*

№ 1 (35) 2020

Сыктывкар
Издательство СГУ им. Питирима Сорокина
Syktyvkar
SyktSU Press
2020

Научно-образовательный и методический рецензируемый журнал
Peer-reviewed research and instruction journal
Учредитель и издатель — федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский просп., д. 55)
Founder and publisher — Federal State Budget Educational Institution of Higher
Professional Education “Pitirim Sorokin Syktyvkar State University”
(167001, Komi Republic, Syktyvkar, Oktyabrsky prosp., 55)

12+

PI Media Registration Certificate
No. FS 77-68795 dated 02.17.2017
issued by The Federal Service For
Supervision
Of Communications, Information
Technology, and Mass Media
Journal is registered in the Russian Science
Citation Index
(Registration No. 261-06 of July 7, 2012)
Published since 2011.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ
№ ФС 77-68795 от 17.02.2017 г.
выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ
(регистрационный номер
261-06 от 02.07.2012 г.)
Выходит с 2011 г.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Аврамова Ирина Семеновна, доктор педагогических наук, профессор, директор Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург);

Ардашкин Игорь Борисович, доктор философских наук, профессор Национального исследовательского Томского политехнического университета (Россия, Томск);

Бархсанова Елизавета Афанасьевна, доктор педагогических наук, профессор Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (Россия, Якутск);

Бразговская Елена Евгеньевна, доктор филологических наук, профессор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (Россия, Пермь);

Дагбаева Нина Жамсуевна, доктор педагогических наук, профессор, директор педагогического института Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова (Россия, Улан-Удэ);

Винокурова Ульяна Алексеевна, доктор социологических наук, профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» (Россия, Якутск);

Гончаров Сергей Александрович, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (Россия, Санкт-Петербург);

Жеребцов Игорь Любомирович, доктор исторических наук, профессор, директор Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН (Россия, Сыктывкар);

Забулионите Аудра-Кристина Иосифовна, доктор философских наук, профессор факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, профессор института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург);

Зюев Николай Федосеевич, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой культурологии и педагогической антропологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, сотрудник Масси Колледж, Торонто (Россия, Сыктывкар; Канада, Торонто);

Йонкус Далюс, доктор философских наук, профессор Университета Витовта Великого, департамента философии и социальной критики (Литва, Каунас);

Коробейникова Лариса Александровна, доктор философских наук, профессор института искусств и культуры Томского государственного университета (Россия, Томск);

Леонов Иван Владимирович, доктор культурологии, доцент кафедры теории и истории культуры Санкт-Петербургского государственного института культуры; старший методист Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме;

Мангоне Эмилиана, доктор социологии, профессор социологии, культуры и коммуникации университета Салерно, директор международного исследовательского центра «Средиземноморское знание» (Италия, Салерно);

Мосолова Любовь Михайловна, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург);

Николс Лоуренс Т., доктор социологии, профессор социологии университета Западной Виргинии, департамента социологии и антропологии (США);

Скотт Тое, доктор философии, профессор Северного университета г. Бодо, член Союза художников Норвегии (Норвегия);

Сурво Арно, доктор философии, профессор, научный сотрудник кафедры фольклористики гуманитарного факультета университета Хельсинки (Финляндия, Хельсинки);

Сурво Вера Викторовна, доктор философии, профессор, исследователь кафедры этнографии гуманитарного факультета университета Хельсинки (Финляндия, Хельсинки);

Тульчинский Григорий Львович, доктор философских наук, профессор департамента прикладной политологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург (Россия, Санкт-Петербург);

Туманян Тигран Гургенович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии Востока Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург);

Шабает Юрий Петрович, доктор исторических наук, профессор, заведующий сектором этнографии института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН (Россия, Сыктывкар);

Шадрина Ирина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор Мурманского арктического государственного университета (Россия, Мурманск);

Шапинская Екатерина Николаевна, доктор философских наук, профессор, заместитель руководителя Экспертно-аналитического центра развития образовательных систем в сфере культуры Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева (Россия, Москва);

Эрдынеева Клавдия Гомбожаповна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики Забайкальского государственного университета (Россия, Чита).

EDITORIAL BOARD

Avramkova Irina Semenovna, Doctor of Education, Professor, Director of the Institute of Music, Theater and Choreography, Herzen State Pedagogical University of Russia (Russia, Saint Petersburg);

Ardashkin Igor Borisovich, Doctor of Philosophy, Professor, Tomsk Polytechnic University (Russia, Tomsk);

Barakhsanova Elizaveta Afanasevna, Doctor of Education, Professor, M. K. Ammosov North-Eastern Federal University (Russia, Yakutsk);

Brazgovskaia Elena Evgenевна, Doctor of Philology, Professor, Perm State Humanitarian Pedagogical University (Russia, Perm);

Dagbaeva Nina Zhamsuevna, Doctor of Education, Professor, Director of The Pedagogical Institute, Banzarov Buryat State University (Russia, Ulan-Ude);

Vinokurova Uliana Alekseevna, Doctor of Sociology, Professor. Arctic State Institute of Culture and Arts (Russia, Yakutsk);

Goncharov Sergei Aleksandrovich, Doctor of Philosophy, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation (Russia, Saint Petersburg);

Zherebtsov Igor Liubomirovich, Doctor of Historical Sciences, Professor, Director of the Institute of Language, Literature and History. Komi Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Russia, Syktyvkar);

Zabulionite Audra-Kristina Iosifovna, Doctor of Philosophy, Professor of the Faculty of Liberal Arts and Sciences, St. Petersburg University; Professor of the Institute of Music, Theater and Choreography, Herzen State Pedagogical University of Russia (Russia, Saint Petersburg);

Ziuzev Nikolai Fedoseevich, Doctor of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Cultural Science and Anthropology of Education, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University; employee of Massey College in the University of Toronto (Russia, Syktyvkar; Canada, Toronto);

Jonkus Dalius, DSc in Philosophy, Professor. Department of Philosophy and Social Critique, Vytautas Magnus University (Lithuania, Kaunas);

Korobeinikova Larisa Aleksandrovna, Doctor of Philosophy, Professor. Institute of Arts and Culture, Tomsk State University (Russia, Tomsk);

Leonov Ivan Vladimirovich, Doctor of Culturology, Associate Professor of the Department of theory and history of culture of St.-Petersburg State Institute of Culture; senior methodologist of the State Literary and Memorial Museum of Anna Akhmatova in the Fountain House;

Mangone Emiliana, Doctor of Sociology, Associate Professor, University of Salerno. Director of International Centre for Studies and Research 'Mediterranean Knowledge' (Italy, Salerno);

Mosolova Liubov Mikhailovna, Ph. D. in Art history, Professor. Department of Theory and History of Culture, Herzen State Pedagogical University of Russia (Russia, Saint Petersburg);

Nichols Lawrence T., Ph. D. in Sociology, Professor of Sociology. Department of Sociology and Anthropology, West Virginia University (USA);

Scott Thoe, Ph. D, Professor. Nord University; Member of Association of Norwegian Artists (Norway);

Survo Arno, Ph. D, Associate Professor. Department of Folklore Studies, Faculty of Arts, University of Helsinki (Finland, Helsinki);

Survo Vera Viktorovna, Ph. D, Professor, Researcher. Department of Ethnology, Faculty of Arts, University of Helsinki (Finland, Helsinki);

Tulchinsky Grigory Lvovich, Ph. D, Professor. Department of Public Administration, Saint Petersburg School of Social Sciences and Area Studies, Higher School of Economics (Russia, Saint Petersburg);

Tumanian Tigran Gurgenevich, Ph. D, Professor, Head of the Department of Oriental Philosophy and Cultural Studies, Saint Petersburg State University (Russia, Saint Petersburg);

Shabaev Iurii Petrovich, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Ethnography, Institute of Language, Literature and History. Komi Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Russia, Syktyvkar);

Shadrina Irina Mikhailovna, Doctor of Education, Professor. Murmansk Arctic State University (Russia, Murmansk);

Shapinskaia Ekaterina Nikolaevna, Ph. D, Professor, Deputy Director. Expert Analytical Center for Developing Educational Systems in the field of Culture, Likhatchev Russian Research Institute for Cultural and Natural Heritage (Russia, Moscow);

Erdyneeva Klavdiia Gombozhapovna, Ph. D, Professor, Head of the Pedagogy Department. Transbaikal State University (Russia, Chita).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Гурленова Людмила Викторовна, доктор филологических наук, профессор, директор Института культуры и искусства Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (Россия, Сыктывкар)

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕДАКЦИЯ

Гудырева Любовь Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга; руководитель издательского центра Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина

Мазур Виктория Васильевна, начальник отдела планирования организации научно-исследовательской деятельности Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина

Белкина Елена Павловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков института иностранных языков Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина

Гуляева Сабина Тахировна, ст. преподаватель кафедры информационных систем Института точных наук и информационных технологий Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина

Руденко Людмила Николаевна, ведущий редактор издательского центра Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

Адрес редакции: 167001, Республика Коми,
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55а.
E-mail: lrudenko@bk.ru

CHIEF EDITOR

Gurlenova Liudmila Viktorovna, Doctor of Philology, Professor,
Director of the Institute of Culture and Art, Pitirim Sorokin Syktyvkar State
University (Russia, Syktyvkar)
167001, Komi Republic, Syktyvkar, Oktyabrsky prosp., 55a
E-mail: lrudenko@bk.ru

Подписной индекс журнала Е34110, каталог «Почта России» 78782.

Свободная цена

Подписка через сайт «Пресса по подписке» www.akc.ru.

Стоимость подписки 618 руб. на полгода.

Subscription Code E34110, Russian Post catalogue 78782.

Subscribe on «Pressa po podpiske» www.akc.ru

Subscription price for six months — 618 roubles.

Flexible pricing

© ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 2020

© FSBEI of Higher Education

«Pitirim Sorokin Syktyvkar State University», 2020.

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Тимошук А. С. Испытание иммортологией vs. забота о душе Timoshchuk A. S. The Temptation of Immortality vs. Care for the Soul.....	8
Зюзов Н. Ф., Пичко Н. С. Культурные практики как основание формирования национальной идеи Zyuzev N. F., Pichko N. S. Cultural Practices as the Basis for the Formation of a National Idea.....	14
Стороженко Н. В. Противоречия понятий запрета и непрерывности в философских работах Жоржа Батая Storozhenko N. V. Conflict Of Taboo And Continuity In Philosophy Of George Bataille.....	23

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Гаузер И. В. Паломничество в «страну святых чудес» как актуальный мотив русской культуры (испанская тема в романе Ю.М. Малецкого «Улыбнись навсегда») Gauzer I. V. Pilgrimage to the “Country of Sacred Miracles” as a Topical Motiv of Russian Culture (Spanish Topic in the Novel of Yu.I. Maletsky “Smile Forever”).....	33
Зыков С. Н., Яркова Е. В., Земцова И.В. Этнокультурные особенности проектной культуры традиционного дома коми Zykov S., Yarkova E., Zemtsova I. V. Ethnocultural Aspects of Design Culture with Regard to Traditional Komi Dwelling.....	50
Иванищева О. Н. Фейки как разновидность социальной информации Ivanishcheva O. N. Fakes as a Kind of Social Information.....	63
Игаева К. В., Шмелева Н. В. Кризис гегемонной маскулинности в западном кинематографе конца XX – начала XXI века Igaeva K. V., Shmeleva N. V. The Crisis of Hegemonic Masculinity in American Cinematography of the Late XX – early XXI Century.....	74

Материалы, публикуемые в рамках международного Симпозиума
**«RELATE NORTH — 2019: традиции и инновации
в образовательном пространстве искусства и дизайна»**
(10–16 ноября 2019 года, г. Сыктывкар)

Timo Jokela, Glen Coutts and Maria Huhmarniemi. Tradition and Innovation in Arctic Sustainable Art and Design Тимо Йокела, Глен Коуттс и Мария Хухмарниemi. Традиции и инновации в устойчивом искусстве и дизайне Арктики.....	84
---	----

Melanie Sarantou. 'My Piece of Heaven': Explorations of resources in arts-based research and making environments

Мелани Сарантоу. «Мой кусочек рая»: исследование ресурсов в искусствоведческих исследованиях и создании окружающей среды.....100

Материалы, публикуемые в рамках
XIV Международной научной конференции
**«Семиозис и культура: человек, общество, культура и процессы
социальной трансформации» (6–7 декабря 2019 года)**

Абдуллаев С. Н., Абдуллаева Г. С. Народные ассамблеи: моделирование устойчивого развития полиэтнического общества

Abdullaev S.N., Abdullaeva G. S. People's Assemblies: Modeling the Sustainable Development of a Multi-ethnic Society.....120

Некита А. Г. Голод как фактор социальной эволюции: идеология игровых страданий и смерти в голливудской франшизе «Голодные игры»

Nekita A. G. Hunger as a Factor of Social Evolution: Ideology of Gaming Suffering and Death in the Hollywood Franchise «the Hunger Games».....131

Маленко С. А. «Имя им легион»: идеологема противостояния социума и дочеловеческих форм жизни в американских фильмах ужасов

Malenko S. A. «Name Them Legion»: The Ideologeme of the Confrontation Between Society and Prehuman Life Forms in American Horror Films.....144

Emiliana Mangone. The “Words” to Represent the Migrants in the Mediterranean. The Case Study of an Italian Newspaper

Эмилиана Мангоне. «Слова», используемые для представления мигрантов в Средиземноморье. Тематическое исследование итальянской газеты.....159

Смирнов В. А. Исторические аспекты реализации «мягкой силы» в контексте стратегии социокультурного управления

Smirnov V. A. Historical Aspects of Soft Power Implementation in the Context of The Strategy Socio-Cultural Management.....174

ПЕДАГОГИКА

Егорова Е. Л., Сибиркина Е. Н. Модульно-компетентностный подход в проектировании основной профессиональной программы высшего образования на этнокультурном содержании (на примере основной профессиональной образовательной программы высшего образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование)

Egorova E. L., Sibirkina E. N. Unit Competency Building Approach in Design of the Main Professional Higher Education on Ethnocultural Content (by the Example of the Main Professional Pprogram of Higher Education 44.03.02 Psycho-pedagogical Education).....186

Сведения об авторах.....198

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

УДК 111

DOI: 10.34130/2233-1277-2020-1-8-13

А. С. Тимощук

Владимирский юридический институт Федеральной службы
исполнения наказаний, г. Владимир

Искушение иммортологией vs. Забота о душе

В работе «Сова Минервы вылетает в сумерки» российский мыслитель В. А. Кутырёв разработал программу феноменологического субстанциализма, отдельные аспекты которой разбираются в статье. Уход в машинное и цифровое бессмертие критикуется Кутырёвым как очередное прельщение технократической цивилизации, цифровой самообман.

Ключевые слова: Кутырёв, традиция, человек, феноменология почвы, религия бессмертия, критика технократизма.

A. S. Timoshchuk

VLI of FPS, Vladimir

The Temptation of Immortality vs. Care for the Soul

In the work "The Owl of Minerva flies at dusk", Russian thinker V.A. Kutyrev developed a program of phenomenological substantialism, some aspects of which are discussed in the paper. Departure into machine and digital immortality are criticized by Kutyrev as another attraction of technocratic civilization, digital self-deception.

Keywords: Kutyrev, tradition, man, phenomenology of the soil, religion of immortality.

Введение. Отечественный консервативный мыслитель В. А. Кутырёв известен не только как критик информационно-символического общества, его можно считать крипторелигиозным автором, который, как Тейяр де Шарден, осуществляет синтез веры и разума, при этом альфа и омега для Кутырёва – это сама жизнь в ее стази-се и динамике. В эпоху кричащей моды на силикон, титан, коллаген, ботулотоксин Кутырёв, как истинный неоконсерватор, предлагает вспомнить о том, что мы не есть это тело, а инвестиция в тлен – свидетельство прогрессирующего слабоумия *Homo sapiens*.

В своем провозглашении глубинной экологии как заботы о предметном макромире Кутырёв продвигает нас к православной Софии и предлагает реактуализировать путь между агностицизмом и технократизмом, реизмом и структурализмом.

Основная часть. Жизнь выше поисков ее смысла. Кутырёва тревожит расщепление целостности бытия, его подмена функциональностью, математизацией, химизацией, информатизацией; превращение в самоцель цифровых технологий в иллюзорной надежде, что они принесут полный контроль над реальностью; угроза подмены реальности социотехникой. На смену механицизму, натурализму, логицизму и историцизму пришел технологизм. Если философия не прекратит свое увлечение редукционизмом, она потеряет связь со своей сущностью обобщения. Метауровень философии – в ее целостности и гуманизме, а не в однобоких конструктах.

Новая работа волжского оракула привлекает не столько уже известным алармистским пафосом, сколько неброскими рассуждениями о проблемах поддержания устойчивого порядка. В. А. Кутырёв формулирует ясное и экофильное послание: нельзя допустить, чтобы сложность цивилизации, реализуемая на нано-, микро-, мега- и иных уровнях, совсем поглотила простоту макромира, изначальную и естественную обитель бытия. Наш исходный дом сущего – это вечная самоценность. Философия самосохранения формулирует в качестве первостепенной задачи поддержание и обслуживание обители жизненных миров *Homo sapiens* на Земле. При этом гуманизм определяется как мировоззрение, приведенное к мере человека [1, с. 105]. В другой публикации В. А. Кутырёв определяет гуманизм как «слабую» форму религии [2, с. 9]. В защите человека от технологий философия должна объединиться с религией. Это теo-антропо-дицея, или союз ради жизни на земле, в воде и на небе.

Иисус искупает род человеческий, это Вселенское служение. Духовность не зря часто связывается с религией, ибо в последней передается практика самоограничения и жертвенности. Вертикаль духа выносит обыденные отношения в трансцендентную проекцию. Ядро и периферия, центр и окружность, вертикаль и горизонталь, иерархия и субординация – это понятная организация дома бытия. Топос жизни, которому противопоставляется бездомность и детерриторизация, анархия и децентрализм, самолюбование и тщета.

Сатана же – это просто эгоист, принцип служения себе, чьим агентом сегодня выступает homo economicus, деятельный человек, которого не прельщает благочестивая скука рая [1, с. 400]. То, что не смогли сделать социалисты-атеисты, делают верующие-эгоисты потребительского общества.

Принцип служения пронизывает все осмысленные виды отношений – дружбу, любовь, патриотизм, верность. Быть для другого. Кутырёв допускает существование светских форм духовности, но отмечает, что бережную передачу жертвенности и самоотречения осуществляет именно религия, где сама литургия – это служба и благодарение [1, с. 397]. Иисус принимает жертву за род человеческий. Закон служения – внутренняя сущность мира (дхарма, дао, маат) – превосходит конкретных богов.

Волжский традиционалист заключает союз с религией против свободы творчества. Обезбоженная цивилизация занята игрой ума. Люди слишком деятельны, чтобы прельщаться однообразием религии. Это посттрадиционное общество, система всеобщей полезности. Традиционное общество закрыто фильтрами духовности, культуры, верований, авторитета, морали. Рыночное общество осуществляет постепенную деконструкцию этих регуляторов и предрассудков. Социалистическое общество с этой точки зрения было традиционным. Однако сейчас оно также разложилось под влиянием прибыли, рынка, выгоды. Кутырёв выступает за монашество в миру, когда верующий решает житейские вопросы, при этом тянется вверх, к воображаемому идеалу.

Кутырёв примиряет эволюционистскую и религиозную версии происхождения человека. Они едины в том, что человек – это уникальный феномен, ценность бытия, микромир и Вселенная, носитель свободы и мера вещей, субъект, дающий смысл. Венец филосо-

фии – это антропология с ее тезисом, что в любой системе мышления человек находится в центре дискурса как неявное означаемое.

«Сова Минервы» продолжает экспонирование скудости постчеловеческой информационной реальности, начатое в другой публикации [2]. Актуальной формой антропологической теории автор провозглашает творчество С. С. Хоружего, который, как и Кутырёв, предупреждает об опасности пересечения антропологической границы, а в качестве ориентира духа для человека указывает на личную духовную практику [3]. Человек не может осуществиться без духовной подпитки – молитвы, медитации, исихазма, литургии, нирваны и т.д. Опора на духовную практику – вот энергийная антропологическая парадигма. Ради своего спасения человеку надо стать Богочеловеком [1, с. 461].

Кутырёв неослабевающей критике подвергает сателлиты технико-атеистического бессмертия: технократизм, трансгуманизм, инновационизм, прогрессивизм, дигитализация, редукционизм, виртуальный полионтизм, когнитология, деконструкция, гипермодернизм, логоцентризм. Разделяя озабоченность по поводу устойчивости развития цивилизации, хочется заступиться за полионтизм, гетерономность, континуальность и комплексность как за атрибуты, которые нужны философии и миру. Они не умаляют жизнь, хотя могут представляться угрозой обжитому миру. Предлагаю нижегородскому блюстителю традиции допустить множественность, длительность и многоаспектность добра.

Литературный стиль подачи философии – это конек В. А. Кутырёва. Автор ведет текстуальную игру с читателем, приглашая его иногда сделать кофе-брейк в мир-письме «Вселенная Кутырёва». Кто он? Постмодернист? Марксист? Левый консерватор? Традиционалист? Православный исихаст? Полемизм и открытость его текстов всегда оставляют место для гаданий. Следуя автореференции игрового дискурса, он перекладывает часть ответственности на читателя.

Не является ли антагонист таким же текстурбатором, как и те агенты философско-спекулятивных схем рассуждения, которых он разоблачает? Семантика грамматических конструкций автора позволяет дать негативный ответ. Его методу можно дать название «антипостмодернизм», где намеренное применение постмодернистских приемов носят цель срубить дерево его же черенком. Он

бьет врага его же оружием. Поскольку новые идеологии, как правило, агрессивны и стремятся к «абсолютизации» [1, с. 456], анти-дискурс Кутырёва тоже воинственный, но не циничный. Мыслитель исповедует старое кредо философии – служить благу человека, видеть и указывать на aberrации. Постмодернизм эксплуатирует идеи классической и неклассической науки, ткёт платье для голого короля из интеллектуальных уловок и отсылок. Ответственный историзм, освобождающий Джоконду от усов, возвращающий бороду Марксу и платье королю, должен служить не только истине, но и благу [1, с. 462].

Критикуя постмодернизм за его бездуховность, В. А. Кутырёв активно использует все его инструменты, эксплуатируя короткие предложения, зачеркивания, многозначность, речевки, закавычивание, скобки, слезы, иронию и сарказм, неологизмы и омофоны, аббревиации и латинизмы, фигуры и графемы, анафоры и оксюмороны, аллюзии и игру, гипертекстуальность и метатекстуальность, каприз и блеск. От этого текст становится легким / непроходимым, насыщенным / минималистским, аппетитным / неудобоваримым, каким и должен быть (анти)постмодернизм.

Выводы. В статье рассмотрен манифест феноменологического субстанциализма нижегородского философа В. А. Кутырёва, опубликованный в виде его новой монографии. «Сова Минервы» сохраняет градус резистентной христианской философии, инициированной ранее [4; 5; 6].

Положительную основу программы Кутырёва составляют следующие положения: явленный мир есть подлинное бытие; бытие есть благо; истинность проверяется близостью к человеку; лучший мир тот, в котором мы есть. Уход в машинное и цифровое бессмертие справедливо разоблачается как очередное прельщение технократической цивилизации, цифровой самообман. Подлинная им-мортиология, несомненно, может быть основана на идеях служения, почвы, коэволюции. Актуально звучит призыв вернуться в субстанционально человеческий трехмерный мезокосмос, соразмерный нашим органам чувствам. В монографии своевременно ставится вопрос об экологии творчества, самоограничении в создании иного. В социальном измерении программа Кутырёва, позиционируемая как динамический консерватизм, имеет самые долгосрочные перспективы.

Библиографический список

1. Кутырёв В. А. Сова Минервы вылетает в сумерки (Избранные философские тексты XXI века). СПб.: Алетейя, 2018. 526 с.
2. Кутырёв В. А. О союзе религии с философией против свободы технотнауки // Вестник славянских культур. 2011. № 1. С. 5–14.
3. Хоружий С. С. Космическая литургия как экологический принцип православной культуры // Философия и культура. 2016. № 2 (98). С. 268–274.
4. Тимошук А. С. Рецензия на книгу: Кутырёв В. А. Последнее целование. Человек как традиция // Вопросы культурологии. 2016. № 8. С. 75–78.
5. Тимошук А.С. Философия сопротивления // Вестник славянских культур. 2017. № 2 (44). С. 194–198.
6. Тимошук А.С. Читать Кутырева. Забыть Мейясу // Вестник Вятского государственного университета. 2019. № 1(131). С. 96–98.

References

1. Kutyrev V. A. *Sova Minervy vyletayet v sumerki (Izbrannyye filosofskiye teksty XXI veka)* [The owl of Minerva flies at dusk] (Selected philosophical texts of the twenty-first century). St. Petersburg, Aletheia, 2018, 526 p. (In Russ.)
2. Kutyrev V. A. *O soiuze religii s filosofiej protiv svobody tehnonauki* [On union of religion and philosophy against freedom of technoscience]. *Vestnik slavyanskikh kul'tur*, 2011, no. 1, pp. 5–14. (In Russ.)
3. Khoruzhiy S. S. *Kosmicheskaya liturgiya kak ekologicheskii printsip pravoslavnoy kul'tur* [Cosmic liturgy as an ecological principle of Orthodox culture]. *Philosophy and Culture*, 2016, no. 2 (98), pp. 268–274. (In Russ.)
4. Timoshchuk A. S. *Retsenziya na knigu Kutyrova V.A. Posledneye tselovaniye. Chelovek kak traditsiya* [Book review Kutyrev V.A. Last Kiss Man as a Tradition]. *Voprosy kul'turologii*, 2016, no. 8, pp. 75–78. (In Russ.)
5. Timoshchuk A. S. *Filosofiya soprotivleniya* [resistential philosophy]. *Vestnik slavyanskikh kul'tur*, 2017, no. 2 (44), pp. 194–198. (In Russ.)
6. Timoshchuk A. S. *Chitat' Kutyreva. Zabyt' Meyyasu* [Read Kutyrev. Forget Meillassoux]. *Bulletin of Vyatka State University*, 2019, no. 1 (131), pp. 96–98. (In Russ.)

Н. Ф. Зюзев¹, Н. С. Пичко²

¹ Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

² Филиал Ухтинского государственного технического университета
в г. Усинске, г. Усинск

Культурные практики как основание формирования национальной идеи

В статье рассматривается понятие культурных практик как фундаментальной составляющей процесса формирования национальной культуры.

Утверждается мнение, что социально-культурные реалии актуализируют проблемы гуманизации общества, отождествления сущности национальной духовности с общечеловеческими универсалиями.

Автор рассматривает эволюцию методологических подходов к осмыслению культурных практик в современном обществе, признаки, особенности культурного производства и потребления в виртуальной сфере и в повседневной жизни. В статье обосновывается точка зрения на сущность и содержание понятия «культурные практики», которые рассматриваются как основа развития креативных индустрий.

Доказано, что одной из главных интенций культурных практик является сохранение, передача и дальнейшее развитие системы значений, смыслов, представлений, опредмеченных в знаниях и выраженных в символической форме.

Ключевые слова: культура, культурные практики, цивилизация, прогресс, национальная культура, универсалии культуры, Россия, духовность, дискурс.

Nikolay Zyuzev¹, N. S. Pichko²

¹ Pitirim Sorokin University in Syktyvkar, Syktyvkar

² Usinsk branch of Ukhta State Technical University, Usinsk

Cultural Practices as the Basis for the Formation of a National Idea

The article considers the concept of cultural practices as a fundamental component of the process of formation of a national culture. It is argued that socio-cultural realities actualize the problems of humanizing society, identifying the essence of national spirituality with universal human universals.

The author considers the evolution of methodological approaches to understanding cultural practices in modern society, signs, characteristics of cultural production and consumption in the virtual sphere and in everyday life. The article substantiates the point of view on the essence and content of the concept of «cultural practices», which are considered as the basis for the development of creative industries.

It is proved that one of the main intentions of cultural practices is the preservation, transmission and further development of the system of meanings, implications, ideas, objectified in knowledge and expressed in symbolic form.

Keywords: Culture, cultural practices, civilization, progress, national culture, universals of culture, Russia, spirituality, discourse.

Бурное развитие технологических, геополитических, социально-экономических, ментальных процессов сегодня существенно трансформирует основные направления развития культуры, способствует появлению в практике новых феноменов, которые требуют теоретического осмысления. Фактически в начале XX века в культурологии, которая стала развиваться на границе с социальными науками, сложился новый категориальный аппарат, который также требует осмысления и уточнения.

Такие понятия, как «культурные практики», «медиакультура», «культурный архив», «культуротворчество», «культуроника», «культурные индустрии», «культурный кластер», «культурные инновации», «креативность», «креативный класс», «творческая экономика», «экономика впечатлений», «социопрагматика культуры», «культурные коды» и т.п., – все эти концепты [1], введенные в научный оборот в социогуманитаристике в конце XX века, маркируют глубину изменений, происходящих в архитектонике социокультурного пространства.

В последние десятилетия растет осознание не только внутренних связей между состоянием культуры, социальными, экономическими и политическими явлениями, но между культурой и познанием. Осознание динамики культуры, существование традиционных культур в инновационных процессах через новый категориальный аппарат позволяет не только осмыслить их уникальность, но и сохранить основу цивилизационного развития, экогенные процессы планеты, стимулировать междисциплинарные исследования.

Изменения, происходящие в современной Российской Федерации, обязывают ученых сосредоточиться на моделях трансфор-

мации культуры, культурных практик, что, соответственно, требует решения большого количества актуальных проблем. Среди них – «проблема развития культуры во время трансформационных процессов в условиях глобального, глокального и локального пространств, что актуализирует необходимость изучения ряда косвенных вопросов» [2, с. 48]. В первую очередь, они касаются влияния этих процессов на культурную матрицу и культурный ландшафт, идентификацию общества и личности; развитие ценностных приоритетов в современных условиях развития России.

В данной статье акцент поставлен на локальный контекст развития современных культурных практик, который «актуализирует вопрос сохранения и передачи традиций от поколения к поколению и решает связанную с этим проблему идентичности и национального интереса» [3, с. 104].

Понимание того, что представляют собой культурные практики сегодня, является актуальным вопросом, который ставят перед собой не только философы и культурологи, но и педагоги, социологи, журналисты и другие исследователи. Понятие это является относительно новым для современных общественных наук.

Существует ряд дефиниций практики, культурных практик, которые ранее в своих трудах рассматривали Л. Болтански, П. Бурдьё, М. Хайдеггер, Л. Витгенштейн, Ж. Делез, Н. Элиас, А. Кравченко, С. Крымский, Б. Латур, А. Макинтайр, Г. Медникова, М. Мосс, И. Петрова, К. Поланьи, А. Реквиц, М. де Серто, Л. Тевено, Ч. Тейлор, М. Фуко, А. Шинкаренко, А. Яковлев.

Трансформационные процессы в культуре стали предметом исследования зарубежных (А. Аппадурай, К. Апель, З. Бауман, В. Бек, П. Бергер, С. Хантингтон, Г. В. Ф. Гегель, И. Гердер, Э. Эрикссон, О. Конт, К. Маркс, Г. М. Маклюэн, Ф. Ницше, К. Поланьи, Р. Робертсон, Г. Терборн, А. Тойнби, Э. Тоффлер, М. Фуко, Ф. Фукуяма, О. Шпенглер, К. Ясперс и др.) и российских (А. Ашкерова, Н. Бердяев, Л. Выготский, Н. Данилевский, Т. Заславская, В. Ионеско, Д. Лихачев, А. Лосев, Ю. Лотман, В. Мейжув, А. Пигалев, В. Соловьев, П. Сорокин, Е. Трубецкой) теоретиков.

Теоретическую ценность представляют работы по политической модели трансформации культуры, культурных практик, в том числе связанных с изменением государственного устройства, поиска «справедливости и порядка» (Гераклит, Платон, Аристотель, Т. Кампанелла, Конфуций, Лао-Цзы, Дж. Локк, Н. Макиавелли,

Ш. Монтескье, Т. Мор, Пифагор, , Ж.-Ж. Руссо), с культурой воспитания и обучения (Г. В. Ф. Гегель, И. Гердер, И. Кант), развитием производительных сил и общественного производства, общеэкономическими проблемами (Дж. Локк, К. Маркс, И. Михасюк, С. Мочерный, К. Поланьи, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, С. Сисмонди, А. Смит, Д. Стеченко, А. Токвиль, Л. Чернюк).

Специфика трансформационных процессов в эпоху формирования и функционирования информационного общества раскрыта в работах К. Апеля, Р. Барта, П. Берка, Л. Выготского, Ж. Бодрийяра, М. Бубера, П. Бурдые, Л. Витгенштейна, К. Гирца, Ж. Делеза, У. Эко, С. Крымского, Г. Лассуэлла, К. Леви-Стросса, А. Леонтьева, А. Моля, Ч. Морриса, Г. Почепцова, П. Сорокина, Г. Тарда, Э. Тоффлера, М. Фуко, К. Ясперса и других исследователей.

Концептуализация теории культурных практик требует теоретической рефлексии на предмет становления «новой культуральной истории», имманентным признаком которой становится «тяготение к культурным практикам» (П. Берк, Г. Гринченко, Г. Дарнтон, Н. Дэвис, М. Кром, Г. Медникова, Л. Хант, Б. Цимон).

Отдельного внимания заслуживает теоретическое наследие представителей школы «Анналы», в рамках которой произошел поворот к исторической антропологии и истории повседневности. Культурные практики этой школы становятся одной из ведущих проблем исследования новой культуральной истории (Б. Лепти, Ж. Ревель, Р. Шартье).

Смысл культурных практик изучается в контексте теории Cultural Studies, которая представляет собой «междисциплинарное», или «трансдисциплинарное», поле исследований. Оно представлено открытой системой ключевых понятий, практических установок и исследовательских ориентиров, необходимых для осмысления сложного по структуре и неоднородного пространства современной культуры.

Cultural Studies является самостоятельным направлением гуманитарного знания и институциональной формой образовательной практики, представителями которых стали Р. Уильямс, Р. Джонсон, Д. Хеббидж, Р. Хоггарт, С. Холл, Дж. Фиске. В рамках парадигмы Cultural Studies культура совокупности вариативной множественности культурных форм и дифференциации культурных практик

«воплощает целостный и одновременно разнообразный образ жизни, в котором существуют обычные люди» [4, с. 36].

Диапазон культурной практики не ограничивается конкретным видом деятельности, сюда можно относить и бытия в мире культурных ценностей, их создания, мир, который творит человек и который творит человека, это мировоззренческие предпочтения, которые закреплены в традиции того или иного типа культуры [5, с. 54–56]. Культурная практика, наряду с другими направлениями своей реализации, обнаруживает мировоззренческие ценности и традиции, которые выступают основой их сохранения.

В то же время возникает вопрос, что включать в состав культурных практик. По нашему мнению, к культурным практикам следует относить: практики организации досуга (посещение театров, музеев, художественных выставок, просмотр телепередач), музыкальные предпочтения, практики чтения и интернет как досуг и источник культурного контента.

В последние годы наше общество охватывают сложные и противоречивые процессы поиска новой модели исторической и социально-культурной самоидентификации, новых путей развития, стремление коренной трансформации общего типа цивилизации, который складывался веками в евразийском регионе. Особенно ярко эти процессы проявляются в сферах национального самоопределения, становлении нового типа духовности.

В условиях коренной переоценки ценностей появляется опасность возникновения духовного вакуума. Разрушение старого мировоззренческого комплекса приводит людей к нравственной дезориентации, ощущению распада привычных ценностных норм и самого социального содержания общественного бытия. Заполнить пустоту, которая образуется, насытить ее конструктивным содержанием может только приобщение к национальным культурным ценностям, которые выработало человечество на протяжении своей многовековой истории.

Понимание культурных практик как совокупности механизмов по производству (или выработке) смыслов и ценностей «не исключает, учитывая усиление тенденций авторитаризма в разных странах мира, способов консервации и воспроизведения какой-то единой исторической ментальной матрицы на уровне государственной культурной политики, которая представляет опасность для об-

щества, поскольку тормозит его развитие в современном “мире мобильности”» [6, с. 83].

Российские исследователи В. Бычков и Н. Маньковская, осуществляя философско-эстетический анализ арт-практик в эпоху техногенной цивилизации, определяют три сферы, в которые трансформируются традиционные искусства: организация всеобъемлющей среды обитания человека, шоу-бизнес и новейшее дигитальное искусство на основе мультимедиа в просторах виртуальной реальности. Так формируется ряд новых экспериментальных искусств, воплощенных в арт-объектах, артефактах, инсталляциях, акциях, энвайронментах, хэппенингах, перформансах, арт-проектах и арт-практиках, которые развились на мультимедийной основе – в кино, телевидении, современных шоу, в видеоарте, компьютерной графике, компьютерных инсталляциях, сетературе, трансмузыке, интернет-арте, интерактивном искусстве, виртуал-арте и других новейших видах арт-практик: медиаарте (трансмиден-арт, экспериментальное кино) и технологических искусствах (электроник-арт, робото-арт, геномика-арт) [7, с. 62–72].

Развитие электронных технологий, всеобщая доступность бытовой аудиовидеотехники, компьютеров с периферийными устройствами развлекательного назначения стандартизируют культуру повседневной жизни, формы проведения досуга, снижают регулятивную роль традиционных этических и культурных норм.

Распространение в повседневной жизни компьютерно-информационных технологий привело к появлению специфических культурных практик в Интернете. Исследование аудитории СМИ в конце XX – начале XXI века показало, что потребители не просто активно интерпретируют тексты маскультуры, а дописывают, меняют сюжетные линии произведений, которые им понравились, на основе оригинального произведения создают римейки.

Этот феномен получил название фан-арт (фанатские практики в Интернете). Его исследовали С. Гвенлеан-Джонс, Г. Дженкинс, М. Консалво, М. Меркман, М. Хиллз, Л. Горалик. В рамках креативных онлайн-практик возникли такие феномены, как любительское видео и фотопрактики, которые изучили Дж. Бургесс, А. Маккензи, С. Мюррей, М. Прада, М. Фурстено.

Игровой виртуальный мир Second Life стал своеобразной субкультурой молдер (молдинг – модификация поклонниками ком-

пьютерных игр (исследовали Дж. Киклич, С. Пирс). В онлайн-овых любительских практиках стирается грань между виртуальным и реальным, производством и потреблением. Веб-кино, «сетевая книга», компьютерные игры, виртуальные музеи и т.д., заданные технологическими форматами и в своем существовании связанные с онлайн-овыми сообществами и социальными сетями, создаются на коллективной основе.

Это незавершенные, открытые артефакты и их эстетические качества подчинены коммуникативным целям. Культурные сетевые практики производства становятся практиками потребления. Культурные практики пользователей усилили фактор субъективности в контексте популярной культуры, существенно ее трансформировали [8, с. 103].

Индустрия развлечений – новый сегмент креативной экономики, который отражает общие закономерности развития современного культурного процесса. Гедонистическая функция определяет специфику всех социокультурных функций в индустрии развлечений (познавательной, рекреационной, коммуникативной, развивающей функций). «В развитии мировой индустрии развлечений преобладает потребность в получении новых впечатлений и форм удовлетворения» [9, с. 115–123].

Проектирование сегодня также является выработкой «нового языка», основанной на богатстве антропологических отношений с миром, и оперирует новыми пластичными, «неречевыми параметрами, активно привлекая научно-технические достижения и перебирая на себя функции шоу-индустрии и искусства» [10, с. 75–83].

Интерактивность становится константой формообразования и составляет основу новых отраслей дизайн-активности: «моушн-медиа, мультимедийного и мультисенсорного дизайна и т.д., которые, опираясь на научно-технические достижения, реализуют идеи коммуникации, экспозиции и эстетичности жизненного пространства» [11, с. 17]. Так, интерактивность компьютерных средств позволяет подключать человека (посетителя-пользователя) к процессу проектирования визуальных образов на поверхности мультимедийных объектов или влиять на его форму.

Исследования трансформационных процессов и связанных с ними проблем в науке не только приобретают качественно новые характеристики и подходы, но и требуют их концептуализации.

Обозначенное обусловлено, прежде всего, изменением задач, стоящих перед социумом, среди которых вопрос о реализации культурных потребностей человека, осуществлении культурной функции государства в условиях, когда национальные культуры включены в конкурентную борьбу с глобальным наступлением западного культурного продукта. «Эта ситуация приводит к нивелированию той или иной культуры, унификации различных культурно-исторических форм на почве внедрения определенной модели, ее базовых ценностей» [12, с. 12].

Таким образом, опираясь на работы теоретиков современной культуры и практические воплощения человеческой формообразующей активности, можно сказать, что будущее культурных практик России находится в плоскости разработок «нового языка» формообразования, который будет основан на максимальном использовании потенциалов отношений «человек – природа – техника» и будет оперировать новыми пластическими и виртуальными параметрами.

Библиографический список

1. Аванесова Г. А., Купцова И. А. Коды культуры: понимание сущности, функциональная роль в культурной практике // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сб. ст. по матер. XLVII междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2015. С. 30–43.
2. Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация / отв. ред. И. С. Семененко. М: ИМЭМО РАН, 2008. 152 с.
3. Национальная идея. Страны, народы, социумы / отв. ред. Ю. С. Оганисян. М.: Наука, 2007. 421 с.
4. Криволап А. Д. От парадигмы культурных исследований к интернет-исследованиям // Артикульт. 2011. 2(2). С. 33–41.
5. Баева Л. В. Экзистенциальные риски информационной эпохи. URL: <http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/e63962ee99dc45ac-44257c120042ef7c> (дата обращения: 03.02. 2019).
6. Пфаненштиль И. А. Современные процессы глобализации и геополитические последствия: социально-философское осмысление : монография. Красноярск: СФУ, 2013. 360 с.
7. Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Искусство техногенной цивилизации в зеркале эстетики // Вопросы философии. 2011. № 4. С. 62–72.
8. Социальные коммуникации: профессиональные и повседневные практики. сб. статей / под ред. В. В. Козловского, А. М. Хохловой. Вып. 4. СПб.: Интерсоцис, Скифия-Принт, 2011. 308 с.
9. Абанкина Т. Экономика желаний в современной цивилизации досуга // Отечественные записки. 2005. № 4. С. 115–123.

10. Баева Л. В. Электронная культура: опыт философского анализа // Вопросы философии. 2013. № 5. С. 75–83.
11. Яцюк О. Г. Мультимедийные технологии в проектной культуре дизайна: гуманитарный аспект : автореф. дисс. ... док. искусствovedения. М., 2009. 45 с.
12. Бакуменко Д. А. Трансформация культурных практик в системе социальных коммуникаций современной России: автореф. ... канд. социол. наук. М., 2012. С. 12.

References

1. Аванесова Г. А., Купцова И. А. Коды культуры: понимание сущности, функциональная роль в культурной практике // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствovedения и культурологии : сб. ст. по матер. XLVII междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2015. С. 30–43. (In Russ.).
2. *Obraz Rossii v mire: stanovlenie, vospriyatie, transformaciya* / otv. red. I. S. Semenenko. Moscow, IMEMO RAN, 2008, 152 p. (In Russ.).
3. *Nacional'naya ideya. Strany, narody, sociumy* / otv. red. Yu. S. Oganis'yan. Moscow, Nauka, 2007, 421 p. (In Russ.).
4. Krivolap A. D. Ot paradigmy kul'turnyh issledovanij k internet-issledovaniyam. *Artikul't*, 2011, 2(2), pp. 33–41. (In Russ.).
5. Baeva L. V. *Ekzistencial'nye riski informacionnoj epohi*. Available at: <http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/e63962ee99dc45ac-44257c120042ef7c> (In Russ.). (accessed 03.01.2019)
6. Pfanenshtil' I. A. *Sovremennyye processy globalizacii i geopoliticheskie posledstviya: social'no-filosofskoe osmyslenie* : monografiya. Krasnoyarsk, SFU, 2013, 360 p. (In Russ.).
7. Bychkov V. V., Man'kovskaya N. B. Iskustvo tekhnogennoj civilizacii v zerkale estetiki. *Voprosy filosofii*, 2011, no. 4, pp. 62–72. (In Russ.).
8. Social'nye kommunikacii: professional'nye i povsednevnye praktiki. sb. statej / pod red. V.V. Kozlovskogo, A.M. Hohlovoj. Vypusk 4. Saint-Petersburg, Intersocis, Skifiya-Print, 2011, 308 p. (In Russ.).
9. Abankina T. *Ekonomika zhelanij v sovremennoj civilizacii dosuga. Otechestvennye zapiski*, 2005, no. 4, pp. 115–123. (In Russ.).
10. Baeva L. V. *Elektronnaya kul'tura: opyt filosofskogo analiza. Voprosy filosofii*, 2013, no. 5, pp. 75–83. (In Russ.).
11. Yacyuk O. G. *Mul'timedijnye tekhnologii v proektnoj kul'ture dizajna: gumanitarnyj aspekt. Avtoref. doct. diss.* [Abstr. doct. diss.]. Moscow, 2016. 26 p. (In Russ.) Moskva, 2009, 45 p. (In Russ.).
12. Bakumenko D. A. *Transformaciya kul'turnyh praktik v sisteme social'nyh kommunikacij sovremennoj Rossii: Avtoref. cand. diss.* [Abstr. cand. diss.]. Moscow, 2012, p. 12. (In Russ.).

Н. В. Стороженко
Институт философии РАН, Москва

Противоречия понятий запрета и непрерывности в философских работах Жоржа Батая

Жорж Батай исследует дуальность сакрального и профанного. Анализируя понятия двух различных сфер бытия, философ выводит родственные им категории непрерывности и запрета, через которые описывает всю динамику существования индивида. Оригинальность суждений автора обнаруживается в том, что в своем стремлении разграничить профанный и сакральный миры, он вводит разные категории, которые «разрывают» дуальность двух понятий и констатируют не просто амбивалентность объективного, а его динамическую субъективность. В этом состоит противоречивость понятий непрерывности и запрета. Однако противоречивость не исчерпывается лишь двойственностью каждой категории. Противоречивые взгляды автора также имеют значение. Таким образом, философия Жоржа Батая содержит в себе глубокий актуальный ресурс рефлексии.

Ключевые слова: сакральное, профанное, запрет, непрерывность, трансгрессия, длительность, категория, противоречие.

N. V. Storozhenko
RAS Institute of Philosophy, Moscow

Conflict of Taboo and Continuity in Philosophy of George Bataille

As for his contemporaries, Georges Bataille has carried research into duality of sacral and secular. To analyze sacral and secular Bataille determines related to them categories – continuity and taboo. He describes dynamic of individual being through these categories, in place where they meet. Author's main original approach is to find itself in its intension to demarcate sacral and secular worlds – he creates categories that tear apart duality of «sacral-secular» and state not only object ambiguity but also its subject dynamic. It brings conflict of continuity and taboo. However, conflict is not only determined by dualism of each category. Conflicting author's views also matter. Therefore, philosophy of Georges Bataille finds in itself a deep resource for further reflection.

Keywords: sacral, secular, taboo, Continuity, Transgression, Continuance, category, conflict.

Философия Жоржа Батая непростая и двусмысленная. Даже о значимости его творчества существуют противоречивые мнения. Так, великий Мартин Хайдеггер, к примеру, называет его «лучшей мыслящей головой Франции» [1, с. 1], тогда как не менее великий Жан Поль Сартр едко описывает философа терминами посредственного человека: «ходит на работу, занимает пост в Национальной библиотеке, читает книги, ест, не чурается женщин» [2, с. 1]. Противоречив Батай в глазах современников, противоречива его жизнь, противоречива философия. Вероятно, именно в этом и кроется секрет сложности его слога и системы повествования, а также возможности находить все новые преломления в размышлениях автора, которые позволяют через их призму рассматривать актуальные проблемы философской антропологии настоящего времени и находить новые ответы.

Проблема секуляризации общества, усугубляемая ускоряющимся техническим прогрессом, ставит перед современной мыслью задачу исследования предмета сакрального: его генезис, эволюцию в ответ на изменения, выводы и прогнозы относительно окончательного исчезновения (если такое возможно). Безусловно, сакральное не рассматривается отдельно без привязки к профанному. В современной философской антропологии можно выделить два основных научных подхода: когда сакральное рассматривается в качестве амбивалентного понятия, содержащего признаки профанного, и когда ему противопоставляется. Жорж Батай интересен тем, что он фокусируется именно на сакральном, выводя категорию профанного «в ответ» ему. Более того, автор в силу исторического контекста своего философского предмета не определяет роль субъекта, фокусируя внимание только на понятиях. Поэтому непростая философия, теоретически изучающая амбивалентное сакральное, оказывается еще более сложносочиненной. Вспомогательные категории непрерывности и запрета обнаруживают свою внутреннюю противоречивость и неоднозначность, что дает возможность выявить еще одну перспективу рассмотрения сакрального и «найти» субъект в философии Батая.

Как было сказано выше, основание учения французского философа выстраивается вокруг классического дуализма профанного и сакрального. Автор представляет их как свойства мира, описывая традиционными понятиями. Кратко и емко суть философской мысли выразила Н. Н. Ростова: «С одной стороны, разум, труд, порядок,

опосредованность влечений и дискретное существование, с другой стороны – ярость, хаос и непрерывность» [3, с. 62]. Внутри профанного и сакрального Батай помещает мир запретов и трансгрессии. По его утверждению, «профанный мир – это мир запретов. Сакральный мир открыт для ограниченной трансгрессии» [4, с. 536]. Запрет определяет рамки профанного мира, тогда как ограниченная трансгрессия дает возможность выхода за эти рамки – к сакральному. Под трансгрессией автор понимает «переход» – выход к границе возможного в человеке – через постижение внутреннего опыта, когда он соприкасается с состоянием непрерывности. Таким образом, запрет – это то, что не позволяет человеку полностью раствориться в непрерывности, структура, удерживающая животную ярость и аффективность в рамках сознательности и объективности. Это то, что констатирует разум человеческого существа. По мнению Батая, «если бы не было запрета, если бы запрет не доминировал, человек не смог бы достичь ясного и отчетливого сознания, на котором основана наука. Запрет устраняет ярость, а наши яростные движения ...нарушают в нас спокойный распорядок, без которого немислимо человеческое сознание» [4, с. 11]. Иными словами, запрет – это «ключ к нашему существованию как людей» [4, с. 514]. В свою очередь, непрерывность – это всеохватное глубокое чувство, основы которого всегда укоренены в бессознательном, аффективном. В нем кроется начало существа человека. Это первооснова животного и духовного одновременно, так как именно из непрерывности «выкристаллизовывается» «Я». Стоит полагать, Батай рефлексировал именно над тем чувством, которое в своих работах описывает Зигмунд Фрейд: «Наше нынешнее чувство “Я” есть лишь жалкий остаток первоначально гораздо более широкого, более того, всеобъемлющего чувства, которое и соответствовало внутреннему ощущению связности “Я” с окружающим миром» [5, с. 435].

Таким образом, ученый определяет бытие и антропологическую проблематику человеческого существа на стыке взаимодействия категорий непрерывности и запрета. Человек неоднороден и изменчив, именно рамки запрета и постоянная тяга индивида к непрерывности определяют динамику его жизни между сакральным и профанным мирами. Особенность философии Батая в том, что он предпочитает анализировать именно категории, в чем открыто признается: «Я не перестаю подчеркивать тот факт, что описы-

ваемые мною явления переживаются нами. И они не только переживаются. Я употребил термин существенный: полагаю, что в действительности эти феномены составляют самое существенное в наших переживаниях; если хотите, они – сердце нашего существования» [6, с. 101]. Он добавляет: «...но почему бы не признать, что у меня есть возможность заниматься феноменологией, а не наукой об обществе...» [6, с. 102]. Значение субъекта при этом остается в стороне, непроработанным. Другими словами, автор исследует противостояние категорий, определяя субъекту далеко не самую первую роль. Безусловно, он не теряет субъект и не девальвирует его значения, однако не дает ему собственной проблематики. Например, его современник Роже Кайуа решает схожую проблему, определяя именно человека в качестве главного существа, осуществляющего свой выбор: «... две пропасти, два умопомрачения влекут к себе человека, когда довольство и безопасность его уже не удовлетворяют, когда ему становится в тягость безусловное и осторожное подчинение правилу. Тогда он начинает понимать, что правило всего лишь является как бы барьером, что не оно само является священным, а именно то, что это правило делает недостижимым, что знает и чем обладает только тот, кто вышел за его пределы и нарушил» [7, с. 261–262].

Тем не менее Батай в своем анализе, опираясь на феноменологию, оказывается заложником противоречивости категории запрета и категории непрерывности. Так, сакральное и профанное традиционно поддерживаются понятиями структуры и антиструктуры, что также свойственно подходу автора в своих исследованиях. Однако само понимание непрерывности в той сложности, которую описательно стремится донести философ, не придерживается структурности. Так, Н. Н. Ростова замечает: «Батай осуществляет сакральное, или божественное, непрерывным неструктурным существованием, которое открывается трансгрессии запретов. Однако, оперируя оппозицией «сакральное-профанное», Батай вносит прерывистость в эту непрерывность» [3, с. 65]. По ее словам, «логике непрерывности противоречит использование Батаем оппозиции «сакральное – профанное», которое ведет к тому, что сакральное оказывается локализованным в пространстве и времени. Пределом сакрального пространства и времени оказывается область профанного» [3, с. 65]. Более того, категория запрета является структури-

рующей функцией именно субъекта, когда ограничения языка и детерминированность не дают возможности для поиска описательных схем и структур той категории непрерывности, которая может быть тождественна только самой себе. Как только она оказывается во взаимодействии или противопоставлении, утрачивается ее длительность и приобретает дискретность. Так происходит потому, что мыслящий субъект сам дискретен. Таким образом, Батай не может «достигнуть» непрерывности описательными инструментами, избежав противоречия. Проблематика структурности языка и его влияния на человека приобретет свою актуальность лишь через десятилетие после исследований французского философа, поэтому он стремится «преодолеть» ее другим способом: вводит вспомогательное понятие трансгрессии. Ученый говорит о том, что человеческое существо не может «раствориться» в непрерывности, не утратив себя окончательно, оно может лишь приблизиться к ней (соприкоснуться с сакральным), т.е. выйти к границе возможного в человеке. Батай указывает на то, что столкновение с непрерывностью всегда оказывается событийным, «точечным»: при помощи трансгрессии человек может пережить лишь временное соприкосновение с непрерывностью. Таким образом, истинное сакральное так и остается для него скрытым, поскольку полностью не постигается. Стоит полагать, именно это и формирует ореол таинственности всей категории мистического. При этом непрерывность бытия не может быть познана без дискретности. Батай поддерживает эту мысль своим пониманием трансгрессии. Он говорит о том, что человек может лишь ограниченно подходить к границе возможного, не теряя своего сознания и оценки объективного.

Категория запрета также оказывается внутренне неоднозначной. По утверждению философа, профанное структурировано запретом. При этом он не может существовать без непрерывности. Несмотря на то что запрет определяется как важная категория в формировании человеческого, авторские размышления выстраиваются в диалоге именно с непрерывностью. Категория запрета не получает того глобального значения, которое в философии Батай имеет непрерывность. В подтверждение он сравнивает категорию непрерывности с категорией длительности, проводя аналогии между субъектом и вещью, когда разум и структурное целополагание отводятся в зону проекта и запрета. Длительность, суть

непрерывность, закладывается в самую основу человеческого. По его мнению, «объективное, в некотором смысле трансцендентное субъекту полагание мира вещей, основано именно на длительности; любая вещь может полагаться как нечто отдельное и обладать смыслом лишь при условии, что полагается некоторое будущее время, ради которого она и образуется как объект» [4, с. 69–70]. Таким образом, даже не отводя субъекту отдельной аналитической ниши, автор стремится к созданию структуры своего знания, однако не может нащупать устойчивой платформы. Именно поэтому, «связывая» непрерывность и запрет, философ снова вынужден вводить категорию трансгрессии, выступающую своего рода переходом человека от структурированного мира профанного к всепоглощающему и «непрерывному» миру сакрального. Однако трансгрессия возможна только благодаря человеку. Именно «отсутствие» субъекта в конечном счете, основываясь на внутренней противоречивости понятия запрета и понятия непрерывности, приводит к разрыву дуальности профанное – сакральное, которой тоже свойственна противоречивость. Противоречие имеет корни в неопределенности роли и значения субъекта во всей философии Батая. Как было указано выше, он осознанно на первый план ставит значение категории. Так, например, С. Л. Фокин пишет: «Отличительная черта творческой позиции Батая – ясное осознание разорванности собственной субъективности, собственной индивидуальности, о цельности которой не переставали заботиться многие его современники, хранившие верность определенным позициям» [8, с. 66]. По словам Д. Ю. Дорофеева, экзистенциальность человеческого существования сама уже по себе означает «выход из себя» навстречу иному, с пониманием того, что человека «нет в себе», откуда бы он выходил к другому, а он только и может быть перед другим, и в этой спонтанной открытости его бытие есть подлинно суверенное» [9, с. 5].

Проблема Жоржа Батая не столько в том, что он не определяет субъект как категорию, пусть даже во всей его разорванности, противоречивости и «отсутствии», сколько в том, что обходит эти попытки стороной. Вероятно, философ становится заложником собственной атеистической позиции. Как ученый, он стремится исследовать проблему сакрального и профанного во всей ее полноте. Поэтому, даже оставаясь в рамках атеистической перспективы, он не может оставить в стороне аспект веры субъекта. Анализируя его

через понятие религии, заведомо определяя ей место запрета, автор обходит стороной его прямую взаимосвязь с субъектом. Так или иначе Батай не желает преодолевать ту грань, за которой скрыт истинный субъект. Он исследует данность, явленную запретом. Поэтому неудивительно, что внимание философа сосредоточивается именно на категории запрета.

Как бы то ни было, внутреннее противоречие категории запрета и категории непрерывности, а также возникающая из этого противоречивость сакрального и профанного не исчерпывается их внутренней функциональностью и персональной позицией философа. Даже если «искусственно» устранить субъект, опираясь на феноменологическую точку зрения, мы обнаружим то, что запрет и непрерывность имеют абсолютно одинаковую основу, которая в терминологии Жоржа Батая может именоваться длительностью. Так, в своей философской работе «Внутренний опыт» он широко анализирует понятие проекта, которое суть структура человеческого существования. Поэтому, если запрет – это рамки профанного мира, то проект – это способ существования в нем. «Действие» находится в полной зависимости от «проекта». И что серьезнее, такое умозаключение само по себе связано с модусом существования проекта. Оно происходит от человека, связанного действием, вытекает из его проектов. Проект – это не только модус существования, предполагаемый действием, необходимый для него, это парадоксальная манера быть во времени: откладывание существования на потом» [10, с. 91]. Самое примечательное, что даже трансгрессия осуществляется через проект: «Внутренний опыт – это разоблачение покоя, это бытие без отсрочки. Принцип внутреннего опыта: выйти посредством проекта из области проекта» [10, с. 92]. Таким образом, запрет может быть определен понятием длительности, как и непрерывность. Следовательно, обе категории ограничены возникновением и устранением живого существа. «Лев не является царем зверей: в своей стихии он – лишь более мощная волна, захлестывающая остальные, менее крупные волны. Тот факт, что одно животное является пищей для другого, никоим образом не в состоянии поколебать фундаментальность положения о том, что всякое животное пребывает в своей среде, подобно потоку воды в водной стихии» [11, с. 16]. «Акты убийства, победы, совокупления вызывают чувство «трансценденции» только в человеческом мире благодаря

«объективации» другого в качестве пассивного объекта» [12, с. 35]. Таким образом, устранение субъекта не позволяет Батаю «расставить» свои категории «по местам», что и приводит к противоречию. Он вводит запрет и непрерывность для детального анализа дуальности профанного и сакрального. При этом каждая категория рассматривается феноменологически. Однако, если бы автор определил важную роль субъекта, он пришел бы к выводу, что сакральное и профанное – это, прежде всего, свойства предмета или явления, тогда как запрет и непрерывность – состояния субъекта, единые в его длительности. Именно состояние субъекта определяет амбивалентность в движении между сакральным и профанным.

Таким образом, Жорж Батай не может «избежать» субъекта в своей философии. Его осознанное игнорирование субъекта приводит к обнаружению внутренней противоречивости категорий непрерывности и запрета, что вызывает противоречивость дуальности профанного и сакрального. Стоит полагать, что проблематика современного времени расширяет для нас рамки учения Батая в отношении исследования субъекта. Возможно, знание его философии помогает нам найти такие преломления мысли, когда появляется перспектива смотреть на понятия профанного и сакрального не только через подходы амбивалентности и противопоставления, а через их объединение. Тогда мы встречаем еще более сложный субъект, когда само его противоречие вступает в противоречие с противоречием окружающего.

Библиографический список

1. Сперанская Н. Асепфале. От Диониса Ницше к «мистерии казни» Батая. URL: <http://www.imaginaire.ru/content/acephale-ot-dionisa-nicshe-k-misterii-kazni-bataya> (дата обращения: 26.08.2019).
2. Баух Эфраим. Иск истории. URL: <https://nice-books.ru/books/proza/istoricheskaja-proza/169594-efraim-bauh-isk-istorii.html> (дата обращения: 10.09.2019).
3. Ростова Н. Н. Изгнание Бога. Проблема сакрального в философии человека : монография. М.: Проспект, 2017. С. 432.
4. Батай Ж. Эротика // Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М: Ладомир, 2006. С. 742.
5. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой. Основной инстинкт. М.: Олимп; АСТ-ЛТД, 1997. С. 431–511.

6. Батай Ж. Влечение и отвращение II. Социальная структура. Коллеж социологии / сост. Дени Олье. СПб.: Наука, 2004. С. 100–114.
7. Кайуа Р. Двойственность Сакрального // Коллеж социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 237–262.
8. Фокин С. Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. С. 320.
9. Дорофеев Д. Ю. Саморастраты одной гетерогенной суверенности // Предельный Батай : сб. статей. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2006. С. 3–39.
10. Батай Ж. Внутренний опыт / пер. с франц., послесловие и комм. С. Л. Фокина. СПб.: Аксиома. Мифрил, 1997. С. 366.
11. Батай Ж. Теория религии. Литература и зло / пер. с фр. Ж. Гайковой, Г. Михалковича. М.: Современный литератор, 2000. С. 352.
12. Zeynep Direk. Bataille on Immanent and Transcendent Violence // Bulletin de la Société Américaine de Philosophie de Langue Française. 2004. № 14 (2). P. 29–49.

References

1. Speranskaya N. *Acephale. Ot Dionisa Nitshe k «misterii kazni» Bataya* [From Dionysus Nietzsche to Bataille's «mystery of execution»]. Available at: <http://www.imaginaire.ru/content/acephale-ot-dionisa-nitshe-k-misterii-kazni-bataya> (accessed: 26.08.2019).
2. Bauh Afraim. *Isk Istorii* [The history claim] Available at: <https://nice-books.ru/books/proza/istoricheskaja-proza/169594-efraim-bauh-isk-istorii.html> (accessed: 10.09.2019).
3. Rostova N. N. *Isgnanie Boga. Problema sakralnogo v filosofii cheloveka: monografia* [The expulsion of God. The problem of the sacred in human philosophy: monograph]. Moscow, Prospekt, 2017, 432 p. (In Russ.)
4. Bataille G. *Erotika* [Erotika]. Bataille G. The cursed part: Sacred sociology. Moscow, Ladomir, 2006, 742 p. (In Russ.)
5. Freud S. *Neudovletvorennost' kulturoi, osnovnoi instinct* [Dissatisfaction with culture, Basic instinct]. Moscow, Olimp; AST-LTD, 1997, pp. 431–511. (In Russ.)
6. Bataille G. *Vlechenie I otrashenie II. Socialnaya struktura. Kollez sociologii* [Attraction and aversion II. Social structure. The College of sociology] sost. Denis Hollier. SPb. Nauka, 2004, pp. 100–114 (In Russ.)
7. Roger Caillois. *Dvoistvennost' sakralnogo. Kollez sociologii* [Duality of the Sacred College of sociology]. Saint-Petersburg, Nauka, 2004, pp. 237–262 (In Russ.)
8. Fokin S. L. *Filosof-vne-sebya. Gorge Bataille* [The philosopher is beside himself. Gorge Bataille. Saint-Petersburg, Isdatelstvo Olega Abishko, 2002. 320 p. (In Russ.)

9. Dorofeev D. U. *Samorastrati odnoi geterogennoi suverennosti* [Self-expenditure of one heterogeneous sovereignty]. *Predel'nyi Bataille : Sb. statey*. Saint-Petersburg, Isdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2006, pp. 3–39 (In Russ.)

10. Bataille Gorge. *Vnutrennii oput* [Inner experience]. Per. s franc. S. L. Fokina. Saint-Petersburg, Aksioma, Mifril, 1997, 366 p. (In Russ.)

11. Bataille Gorge. *Teoria Religii. Literature I zlo* [Theory of religion. Literature and evil]. Per. s franc. G. Gaikovoi, G. Mikhalkovicha. Moscow, Sovremennii literator, 2000, 352 p. (In Russ.)

12. Zeynep Direk. Bataille on Immanent and Transcendent Violence. *Bulletin de la Société Américaine de Philosophie de Langue Française*, 2004, no. 14 (2), pp. 29–49.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 008

DOI: 10.34130/2233-1277-2020-1-33-49

И. В. Гаузер

Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль

Паломничество в «страну святых чудес» как актуальный мотив русской культуры (испанская тема в романе Ю. М. Малецкого «Улыбнись навсегда»)

В статье анализируется проблематика культурной преемственности в аспекте секуляризованного паломничества к культурным артефактам в романе финалиста премии «Русский Букер» Ю. И. Малецкого «Улыбнись навсегда». Прослеживается традиция представления паломничества в Европу как феномен отечественной культуры. Бытовой и эссеистико-искусствоведческий планы повествования у автора носят вспомогательный характер по отношению к экзистенциально-мифологической сфере, в рамках которой встреча с полотнами Веласкеса предстает как вариант иерофании.

Ключевые слова: русская культура, культурная традиция, испанская живопись, паломничество, иерофания, мифопоэтический хронотоп, «свое» и «чужое» пространство.

I. V. Gauzer

Postgraduate student of Yaroslavl State Pedagogical University
named after K. D. Ushinsky, Yaroslavl

Pilgrimage to the “Country of Sacred Miracles” as a Topical Motif of Russian Culture (Spanish Topic in the Novel of Yu. I. Maletsky “Smile forever”)

The article deals with the problems of cultural continuity, primarily in the aspect of secularized pilgrimage to cultural artifacts in the novel by “Russian Booker” award finalist Yu. I. Maletsky “Smile forever”. The tradition of representing pilgrimages to Europe is traced as a phenomenon of national culture. Maletsky’s everyday and essay-art history narrative plans are auxiliary in relation to the existential-mythological sphere, in which the meeting with Velazquez’s canvases appears as a variant of hierophany.

Keywords: Russian culture, cultural tradition, Spanish painting, pilgrimage, hierophany, mythopoetic chronotope, “own” and “alien” space.

Испанская тема в русской культуре является значимым проблемным акцентом, одним из вариантов осмысления и освоения универсалии «чужого», которая лежит в основе «всякой культуры», начинающей, по Ю. М. Лотману, «с разбиения мира на внутреннее („свое“) пространство и внешнее („их“)» [1, с. 187]. В качестве примеров рассмотрения русских испанизмов в современных гуманитарных исследованиях можно назвать статьи И. В. Бурдина и Н. С. Бочкаревой о русско-испанских параллелях в стихотворении А. Вознесенского «Гойя» [2], Е. Г. Черкасовой об образе Испании в России в прошлом и настоящем [3], Е. Э. Юрчик об образе Испании в России XVIII века [4], А. А. Шамариной о теме Дон Кихота у П. Антокольского [5] и др.

В нашей статье акцент сделан на проблематике восприятия русским писателем образов испанской живописи, переживании им пути в Прадо как паломничества и специфике встречи-взаимодействия с культурными артефактами.

Генеральный маршрут паломничества в романе Ю. И. Малецкого «Улыбнись навсегда» описывает «...путь человека к Богу, а такое в отечественной словесности недавних лет встречается нечасто...» [6]. Эта тема, будучи, согласно Е. А. Ермолину, маргинальной для церковного официоза, вписана в традицию русской культуры. Можно утверждать, что автор продолжает традиции русской философской мысли Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского. На своем пути герой проходит через кризисные ситуации, отраженные на физическом и ментальном уровнях. В рамках данной работы рас-

считается один из эпизодов романа Ю. И. Малецкого, где описывается путешествие героя в Мадрид с целью посетить музей Прадо и увидеть полотна Веласкеса.

Проза Ю. И. Малецкого недостаточно освоена в отечественных гуманитарных исследованиях. Данное произведение рассматривалось в работах Е. А. Ермолина [6], В. И. Холкина [7] и Г. А. Доброзраковой [8]. Но испанская тема в тексте А. И. Малецкого не изучалась. Между тем для русского писателя она весьма важна и входит в контекст его европейского самоопределения, обращения чужого в свое, но в весьма специфическом модусе. Испанский фрагмент романа «Улыбнись навсегда» представляет собой одну из «кульминаций повествования» [6].

В сюжетном плане эпизод является описанием трехдневного пребывания героя – русского путешественника – в Мадриде, включая осмотр Прадо и рецепцию полотен Диего Веласкеса. Причем речь идет не просто о культурном туризме, а о своего рода духовном, религиозном причастии; бытовой и эссеистико-искусствоведческий планы повествования у автора являются вспомогательными, и оно в итоге переклещивается в план экзистенциально-мифологический, предъявляя встречу с полотнами Веласкеса как событие духа. Бытовое и социальное обобщаются автором до мифопоэтического и иерофании.

Повествователь являет собой тип странника. Г. П. Федотов одним из первых описал образ русского странника, в котором сосредоточился «по преимуществу кенотический и христо-центрический тип русской религиозности, вечно противостоящий в ней бытовому и литургическому ритуализму» [9, с. 248]. Согласно Ю. С. Степанову, данный образ является константой русской культуры [10, с. 183]. Образ героя в романе Ю. И. Малецкого объединяет в себе множественность культурных смыслов странничества. Путешествие нарратора одновременно и «связанное с передвижением» в физическом континууме [10, с. 182], и духовное, предполагающее открытие неких истин. Герой Ю. И. Малецкого и вояжер, движимый «странничеством добровольным», «одним из самых больших удовольствий, какие доступны обычному человеку», и изгнанник-эмигрант, воплощающий собой странничество «по принуждению» [10, с. 189].

Паломничество от странничества отличается, по Ю. С. Степанову, наличием пункта назначения: «Паломничество – благо, странничество часто – бедствие или идет от бедствия» [10, с. 184]. В этом

смысле странничество героя Ю. И. Малецкого – эмиграция из России как «отрыв от родной почвы» [10, с. 199] – описывается автором в романе драматически. Тогда как паломничество к Веласкесу изображено как знаменательное событие.

Вообще, связь идей странничества и паломничества в русской культуре коренится в средневековой традиции: «...стремление к святости подразумевает необходимость отказаться от оседлой жизни и отправиться в путь. Разрыв с грехом мыслился как уход, пространственное перемещение» [11, с. 408]. Причем если сначала это были святые земли на Востоке, то уже «...XVIII век начался с... утверждения, что новый просветитель русской земли должен совершить паломничество на Запад – с „Великого посольства“ Петра I» [12, с. 367–368]. Начинается великое путешествие-паломничество русского человека в Европу. О секуляризованном паломничестве по европейскому культурному пространству пишет В. М. Гуминский, подчеркивая, что «...с течением времени сакральное пространство Иерусалима и Палестины древнерусских „хождений“ сменяется европейским культурным пространством путешествий XVIII–XIX вв., Запад становится для образованной части русского общества „страной святых чудес“, по позднейшей классической стихотворной формуле А. С. Хомякова...», причем «иногда „сакральная“ жанровая память проявлялась как бы помимо воли автора...» [13]. В. К. Кантор рассматривает идеализацию Запада как один из этапов самопостижения в отечественной общественной мысли [14, с. 4–5].

Но русский паломник находил в Европе разное и целью его паломничества оказывалось то, что задает в ней особое напряжение духа. Для Ю. И. Малецкого это величайшие шедевры европейского искусства. Отметим, что в контексте темы паломничества к шедеврам искусства в русской литературе произведение Ю. И. Малецкого корреспондирует с рассказом Г. Успенского «Выпрямила», где главный герой вспоминает свою встречу с Венерой Милосской в Лувре: «...и тогда... я также проснулся перед ней, также „хрустнул“ всем своим существом, как бывает, “когда человек растет”, как было и в нынешнюю ночь» [15, с. 252]. Когда герой говорит, что «...не мог даже есть, пить в этот день, до такой степени мне это казалось ненужным и обидным для того нового, которое я в себе самом бережно принес в свою комнату» [15, с. 264], – речь идет о сходстве с религиозным экстазом и религиозными табу.

Также рассматриваемый эпизод романа Малецкого структурно соотносится с архетипикой сказочного повествования и в более общем ракурсе – с мифопоэтическим хронотопом. Композиционно это перманентное «...пространственное перемещение героя» [16, с. 32]. Сначала герой преодолевает огромное пространство, «герой через него перелетает» [16, с. 32], в нашем случае буквально: прилетает в Мадрид. Затем он блуждает по городу, претерпевая испытания, на пути к Веласкесу. Автор в традиции послепетровской русской образованности европейское маркирует как «свое». При этом относительно героя-странника фиксируется ситуация отверженности, чужести среди «своих». Многозначительный нюанс: в мадридском отеле «Самара», чье название напоминает повествователю о русском городе его детства, ему отказывают в приюте: «...в родных местах даже в чужих странах ты хуже чужого» [17, с. 231]. Таким образом, пространство ранжируется автором в соответствии с представлениями о Западе в русской культуре, для которого характерно «...противоречивое сочетание ощущений: изгнание и убежище, чужбина и пристанище свободно мыслящего человека, смертельная опасность и возможность спасения, тяготение и последующее разочарование» [18, с. 238].

Путь героя-нарратора есть траектория движения от профанного к сакральному, что актуализирует-семиотизирует изображенное пространство. Локус Мадрида в восприятии героя структурируется оппозицией профанно-бытовой периферии и сакрально-эстетического центра, образованного музеем Прадо, в котором «обитает» *genius loci*, Веласкес.

Профанную периферию испанской столицы представляют маргинальные локусы. Профанное характеризуется М. Элиаде как «бесформенная протяженность, окружающая священное пространство» [19, с. 22]. В тексте же А. И. Малецкого первым, что приходится преодолеть герою на пути к музею, становится «бесконечная кишка мадридского аэропорта» [17, с. 229]. Бесформенность профанного образа также реализуется в тексте как ночной (авизуальный) модус города, где повествователь блуждает в поисках ночлега (бытовая деталь, противопоставленная истинной сакральной цели – попаданию в Прадо). Причем профанное здесь выступает и как локусы дешевых гостиниц («хат или малин под названием «Отель»»), и как авантюрно-опасные переулки, «напоминающие арабские кварталы в Париже» [17, с. 229].

Профанное инокультурно. О восточном компоненте города автор упоминает, говоря о его названии – от арабского «источник полных вод» [17, с. 229]. При этом обозначена и историко-культурная динамика: арабский компонент был когда-то доминирующим, а теперь стал маргинальным.

Профанное опасно и бездушно. Идеальный, почти сакрализованный образ Мадрида, созданный воображением повествователя до поездки, сталкивается с реальностью, когда «в самом центре», «за углом», «грязновато» и простодушного странника-туриста могут легко ограбить [17, с. 230]: «Тут было принято курочить людей... в закоулках, отходящих от центральных улиц...» [17, с. 232]. Этот урбанистический локус маркируется как «злой город» [17, с. 232], где нет места (буквально) бедному туристу-страннику. Даже с вокзала его гонит полицейский.

Многозначительна переключка между рассматриваемым нами текстом и поэмой В. Ерофеева «Москва-Петушки». Герой Ю. И. Малецкого, напомним, представляет Мадрид неким идеальным пространством, «...где все, стоило вспомнить город, в котором не был, насквозь пропахло лимонами и лавром» [17, с. 229]. Веничка дает описание Петушков как «единственного на земле гармоничного места» [20, с. 152]: «Петушки — это место, где не умолкают птицы, ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин» [21, с. 52].

Так же, как на героя Ю. И. Малецкого, нападают и на Веничку, только в конце повествования, в «чужом» пространстве неизвестного подъезда воткнув в него шило. В то же время герой Ю. И. Малецкого сам угрожает ножом нападающему и отпугивает его, после чего, по совету мусорщика, возвращается в безопасное пространство – на центральную улицу.

Как и Веничкино путешествие, движение повествователя в нашем тексте крайне запутанно и нелинейно. Г. А. Комлева указывает, что такое неоднаправленное движение характерно для неклассического повествования XX века. Там же появляется мотив ложного путешествия, «...когда герой, покинув родной дом с запрограммированной сюжетом целью, не достигнув ее, возвращается обратно» [22, с. 70]. Герой В. Ерофеева никак не может попасть в Петушки и оказывается снова в Москве. Плюс к тому не дано герою увидеть и Кремль: «...я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда

я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал» [21, с. 24]. Герой Ю. И. Малецкого, отчаявшись найти отель, пошел к вокзалу Аточа и внезапно вышел к Прадо – цели своего пути; за кипарисами он вдруг видит объект своего поклонения – памятник Веласкесу перед музеем. При этом, чтобы дойти до вокзала, герою надо было возвратиться к исходной точке – к станции метро Банко ди Спаньо, искаженное название которой в тексте созвучно русскому разговорному слову «спанье», что отражает желание героя найти ночлег.

Травестия сакрального и духовное расслабление-разоружение героя достигает пика, когда он добирается до статуи Диего Веласкеса у закрытого на ночь Прадо. Здесь испанский живописец превращается в «соседушку», отношение к которому панибратское, впрочем, не без доли уважения, что выражается в двух желаниях героя: «Я и хотел-то первый день только выпить со статуей Веласкеса и поклониться» [17, с. 234]. Это уже больше напоминает не паломнический пиетет, а отношение трикстера Дон Жуана (дона Хуана Тенорио в трактовке Тирсо де Молины) к статуе Командора. Священный трепет трансформируется в хулу (хотя ее адресат называется не целиком): «Будь ты проклят, Диего Родригес де Сильва-и-» [17, с. 234]. Герой обращается к «ложным богам» не искусства, но войны: «...я взмолился: каудильо Франческо Франко и ты, геноссе рейхсмаршал Геринг, ...пустите десяток тонных бомб на эту белую точку среди кипарисов, ...отправьте в свои черные испанские тартарары всех этих Сурбаранов и Эль Греков, Тицианов и Рубенсов..., а главное – Веласкеса, всех этих богов живописи, которые могут все, кроме одного – найти ночлег бездомному замерзающему бомжу...» [17, с. 234]. Искорженное имя Франко здесь можно интерпретировать как спланированную автором ошибку героя, ослабляющую силу его патетического воззвания.

Наряду с травестийным «донжуановским» интертекстом в этом бунте маленького человека против статуи *genius loci* видится и отсылка к «Медному всаднику» А. С. Пушкина. Не случайно, вероятно, буффонадная сцена бунта заканчивается онирической гибелью бунтовщика, обращающего кощунство против себя, причем в виде символической гибели от написанных Веласкесом конных портретов испанских аристократов: «...только меня... пусть прищепнет насмерть тяжелой „Сдачей Бреды“ Веласкеса. И накроет сверху парой его огромных конных портретов ...» [17, с. 234]. У дороги есть

еще один мифопоэтический смысл – «битва» [23, с. 35]. Герой на своем пути становится участником «битвы» (как с грабителем, так и с художниками и их произведениями).

Заметим, что хулы и «богохульства» имеет смысл понимать как карнавально-смеховую, обратную стороне священного, поэтому в целом действо это священное отнюдь не умаляет. Травестийный бунт снимается дальнейшим повествованием.

Ю. И. Малецкий кодирует смыслы дороги-пути: «Первый из них – „смерть“» [23, с. 34]. Рассказчик «...балансирует некоторое время на грани жизни и смерти, потери себя» [6]; в духе культурной традиции, постулирующей «сближение пути со смертью» [24, с. 22]. Но «...доминантный мотив творчества Малецкого – мотив смерти-бессмертия» [8, с. 164], смертный герой в итоге смиряется перед бессмертием, или сверхжизнью, Веласкеса, точнее, созданных им миров.

В сшибке профанного и сакрального герою видится собственная смерть за отступничество от святого пути, за проклятие божественному Веласкесу: «...впечатать меня в асфальт где, вдохнув напоследок запах Веласкесова волшебства сверхжизни... я больше не буду» [17, с. 234]. Герой подчеркивает разницу между собой и Веласкесом: тому «...не было тяжело сидя спать на морозе. Потому – кто он и где я?» [17, с. 234].

Автор сталкивает возвышенное со сниженным («волшебство сверхжизни» и «запах асфальта»), добавляя иронию. Веласкес – как божество, чья значимость обусловлена «неисчерпаемыми жизненными запасами» [19, с. 81] (как пишет Ю. И. Малецкий – «сверхжизнью»). Но при этом Веласкес же, подобно древнему божеству, антропно не всесилен, что вовлекает героя и его «кумира» в диалектические взаимоотношения близости-недостигаемости.

Профанному «злому» и чужому городу насилия противопоставлен образ святого и «своего» Мадрида, центром этой сакрализации оказывается художественный музей как место искусства: «...отвезите меня в Мадрид, пустите в Прадо, чтобы я увидел Веласкеса „Менины“ и „Пряхи“ – и потом можете и Мадрида не показывать, а везите прямиком до Бреста...» [17, с. 228–229]. Пространство всей Европы становится «пустым», семиотически не значимым по сравнению с шедеврами Веласкеса.

Если первая ночь в Мадриде знаменуется ложным путешествием-отступничеством, то на следующий день герой совершает истинное паломничество, попадая в Прадо. Описывая пространство музея, герой отмечает, сохраняя травестийную интонацию, что в этом дворце 1819 г. пахнет пылью, и характеризует его как «дворец-сарай». Но по мере заглубления в сакральное пространство ирония сменяется пиететом. На пути к Веласкесу героя восхищают Дюрер, Рубенс, Тициан, Рибера, Сурбаран, Эль Греко. Рибера, согласно повествователю, он оценил только тут. Живопись Сурбарана представляет испанский католицизм в чистом виде, «пламень подо льдом» [17, с. 239], а также «не столь уж робкие попытки сезаннизма за 250 лет до Сезанна» [17, с. 239]. Эль Греко «надо только не объедаться, чтобы понять, что он гений» [17, с. 239], который, правда, похож «уж слишком – на себя и только» [17, с. 239]. Герой подчеркивает, что оценил все эти произведения искусства, но любовь вела его именно к Веласкесу, на второй этаж.

Далее речь идет уже не о чувственном влечении, а об особом рода религиозном опыте. К картине Веласкеса нельзя относиться фамильярно. Его живопись интерпретируется как сверхчувственный мир абсолютных начал, а сам Веласкес как художник-демиург. Отметив, что тот предвосхитил реализм, модерн и постмодерн, автор устами героя провозгласил художника абсолютным гением. «Пряхи» Веласкеса, по мнению героя, «...с точки зрения чистой живописи, может, лучшая картина в мире, искрившаяся таким светочетом, какого ни у кого не было, даже у Тициана, даже у Веронезе, даже у самого Веласкеса» [17, с. 239–240]. Упоминается Лука Джордано, назвавший «Менины» «теологией живописи» [17, с. 240], что возвращает нас к религиозному восприятию искусства. Герой подчеркивает, что «Менины» являются не реалистичной картиной, отражающей бытовую жизнь, а осколком иного мира в этом. Автор подчеркивает власть художника: «Полотно впустило меня ровно настолько, насколько хотел его автор...» [17, с. 240].

Отметим, что сакрализованное отношение к искусству и художественному творчеству корреспондирует с распространенным у русских философов взглядом на искусство и творчество. В частности, Н. А. Бердяев определяет творчество как «антроподицею» [25, с. 244] и утверждает, что «это есть тема об отношении человека к Богу, об ответе человека Богу» [25, с. 244]. Творчество, по мысли фи-

лософа, – сила преодолевающая осознание человеком греховности. Более того, оно «...требование Бога от человека и обязанность человека» [25, с. 245]. В этом плане творчество сопрягается со свободой человека и мыслится как «продолжение миротворения» [25, с. 252]. Спасительную роль искусства акцентировал С. Н. Булгаков: «Оно показывает то, чего жаждет и о чем тоскует душа, являя тварь в свете Преображения» [26, с. 2]. Об онтологичности искусства и его связи с первообразами писал П. А. Флоренский: «Искусство воистину показывает новую, доселе неизвестную нам реальность, воистину подымает a realios ad realiora, et a realioribus ad realissimum» [27, с. 383].

В «Менинах» Веласкес, по Ю. И. Малецкому, достиг максимальной степени свободы посредством игры «по правилам заведенного механизма» [17, с. 240]. Здесь размышления автора входят в связь с толкованием картины интеллектуалами XX века. Так, Х. Ортега-и-Гассет характеризовал «Менины» как произведение «...необычайно простое и сказочно возвышенное» [28, с. 226]. Он рассуждает о пространственном решении картины и о своеобразном «натурализме» Веласкеса, состоящем в отказе от идеализации и точности изображения и в стремлении зафиксировать реальный мир в его несовершенстве. Ю. Малецкий же характеризует Веласкеса как человека, который «...предвосхитил лет на 300 реализм XIX века...» [17, с. 240]. М. Фуко размышлял о двусмысленной роли человека в «Менинах», который является и объектом, и субъектом, «...разом и властитель и подданный, и наблюдатель и наблюдаемый...» [29, с. 334]. А сама картина, по мысли философа, есть изображения представления и отсутствия. Созвучны этой мысли размышления Ю. Малецкого: «...эта картина возвращает любого зрителя к „себе“, и он – каждый – и есть портретируемый? И каждый, каждая все-таки тем самым... еще и король, и королева? Но каждый – и смертен, ибо эта коробочка есть помещение жизни, от предсуществования (где находимся мы с вами) до послесуществования...» [17, с. 242]. Тем, кто представлен и отсутствует одновременно, является человек, чья значимость утверждается Веласкесом. По мысли Г. Башляра, «Менины» – это коробочка с фигурами. На картине комната – «пространство сокровенной жизни» [30, с. 33], которое всегда притягательно. Кроме того, сравнение с коробочкой «...возвращает нас к бездонному источнику грез о сокровенном» [30, с. 81], «это память о незапамятном» [30, с. 86]. Также в ларчиках скрываются секреты и тай-

ны. Герой Ю. И. Малецкого рассуждает о смысле картины. Он восторгается промеренностью композиции. «Этот портрет – либо символ королевской власти, либо призрак. Либо – изображение Никого, Кто больше всех» [17, с. 243]. Герой сравнивает мир с пространством картины, а его, в свою очередь, сравнивает с коробочкой, «...в которую можно войти, но из которой всегда сосчитанными шагами приходится выйти – и включиться во Все-Ничто, лишь обозначенное божественной-несуществующей-всегда существующей четой, включающей и „тебя“-никого и всего» [17, с. 243]. Таким образом, сокровенное пространство разрастается до целого мира, а созерцающий зритель растворяется в божественном, становясь «фантомом» [17, с. 243].

Нельзя не упомянуть и о «зеркальности» картины «Менины»: в зеркале отражается королевская чета, на холсте, которым занят художник, по мнению М. А. Аграновской, дублируется то, что видит зритель, который тоже включен в число позирующих: «...картина подобна зеркалу: каждый из нас по-своему трактует ее содержание, усматривает в ней проекцию собственных мыслей и чувств – так, стоя перед зеркалом, мы способны видеть в нем лишь свое отражение» [31]. Веласкес как бы вводит зрителя в зазеркалье, создав при этом «...и непринужденную жанровую сцену, и групповой портрет, и автопортрет, и философскую аллегория» [31]. Художник рассказывает о творчестве, делая зрителя соучастником творческого процесса.

У Ю. И. Малецкого также есть этот контекст, формулирующий «проблему *присутствия*» [7, с. 66], которое можно соотнести с космогонической иерофанией. Веласкес сотворяет миры, но зритель, ощущая божественное присутствие, становится соучастником этой космогонии. Явление иерофании связано с религиозным восприятием искусства, это движение вспять по магистрали истории, в ходе которой «...иерофании уступают место *идеям*, а религиозность в результате этого долгого пути к рационализму почти полностью исчезает» [19, с. 100–101]. При этом согласимся с Е. А. Ермолиным: Бог у Ю. И. Малецкого – «...это сфера абсолютно удаленная» [6]. Он трансцендентен и непостижим для человеческого разума. Постигание Бога возможно только через субъективный опыт, при этом постижение никогда не будет реализовано в полной мере.

В конце главы герой посещение Прадо маркирует как сон о «Пряхах», с фантазмагорией света и цвета. Онирический мотив, сон, выполняет «...роль универсального медиатора между искусством и действительностью» [32]. Мотив сновидения есть и у В. Ерофеева. Там он служит для «...воссоздания бредово-онейрической реальности персонажа...» [32]. По мнению Н. А. Нагорной, сон может означать и путешествия по своему сознанию, воспроизводить некие мифологические первообразы из глубин коллективного бессознательного. Также не следует забывать о связи сна со смертью, мотив которой есть у В. Ерофеева и Ю. И. Малецкого. Во сне человек получает тайные знания и преобразовывается его личность, что и произошло с героем романа «Улыбнись навсегда». В пережитом героем опыте «...есть нечто сугубо индивидуальное. Но, что немаловажно, и нечто универсальное, записанное на скрижалях» [33, с. 110].

Ю. И. Малецкий в эпизоде романа «Улыбнись навсегда» на редкость последовательно актуализирует важные смыслы отечественной культурной традиции. Мотив паломничества вписывает текст в отечественную культурную традицию. Понимание паломничества как способа духовного очищения через приобщение к европейскому искусству отсылает нас к более чем двухвековой традиции понимания путешествий русских на Запад как в «страну святых чудес». В то же время европейское пространство мыслится в русской культуре амбивалентно: как идеальный локус для свободомыслящего человека и как опасное место, что находит отражение в тексте Ю. И. Малецкого. В размышлениях героя о живописи Веласкеса обращает на себя внимание особый религиозный компонент в отношении героя к искусству с элементом иерофании, апеллирующий к русской философии начала XX века.

В аспекте экзистенциальных смыслов мотива пути можно утверждать, что и описание того, как герой пытается попасть в Прадо, история его блужданий и бедствий являются важной частью текста. Они не только демонстрируют следование мифопоэтической логике, но и раскрывают драматически усложненный мир героя, устремленного к цели своего пути, Веласкесу, но обремененного слабостями и изъянами. Это пространство образности, интертекстуально связывающее роман Ю. И. Малецкого с произведениями А. С. Пушкина и В. Ерофеева.

Библиографический список

1. Лотман Ю. М. Понятие границы // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. С. 187–205.
2. Бурдин И. В., Бочкарева Н. С. Русско-испанские параллели стихотворения Андрея Вознесенского «Гойя» // Мировая литература в контексте культуры. 2012. № 1(7). С. 238–244.
3. Черкасова Е. Г. Образ Испании в России: прошлое и настоящее // Ибероамериканские тетради. 2016. № 1(11). С. 108–115.
4. Юрчик Е. Э. Образ Испании в России XVIII в. // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. Espana y Rusia: diplomacia y dialogo de culturas. Tres siglos de relaciones. М.: Индрик, 2018. С. 131–139.
5. Шамарина А. А. Три «Дон-Кихота» Павла Антокольского // Вопросы иберо-романистики. 2017. № 16. С. 39–50.
6. Ермолин Е. А. Чудеса бывают // Новый мир. 2018. № 1. URL: http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2018_1/Content/Publication6_6818/Default.aspx (дата обращения: 09.06.2019).
7. Холкин В. И. Откровение на вольные темы: Юрий Малецкий // Вопросы литературы. 2018. № 4. С. 60–72.
8. Доброзракова Г. А. Основные мотивы автопсихологического романа Ю. Малецкого «Улыбнись навсегда» // Художественный текст: проблемы чтения и понимания в современном обществе. Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018. С. 163–167.
9. Федотов Г. П. Письма о русской культуре: 1. Русский человек // Русские записки. 1938. № 3. С. 239–260.
10. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Академический Проект, 2004. 992 с.
11. Лотман Ю. М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Лотман Ю. М. Избранные статьи : в 3 т. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 407–412.
12. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 338–380.
13. Гуминский В. М. Путь на Запад: русская литература путешествий в послепетровскую эпоху // Новая книга России. 2016. № 3–6. URL: <http://www.voskres.ru/literature/library/guminskiy1.htm> (дата обращения: 16.06.2019).
14. Кантор В. К. Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). М.: Российская политическая энциклопедия (РОС-СПЭН), 2001. 704 с.

15. Успенский Г. И. Выпрямила // Успенский Г.И. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953. Т. 10. Кн. 1. С. 246–272.
16. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. 336 с.
17. Малецкий Ю. И. Улыбнись навсегда: роман и повести. СПб.: Алетейя, 2017. 318 с.
18. Тиме Г. Изгнание как путешествие: русский взгляд Другого (1920-е годы) // Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века : сборник статей / пер. с нем. Г. А. Тиме. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 235–246.
19. Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994. 144 с.
20. Школьская А. О. Особенности художественного пространства в поэме Вен. Ерофеева «Москва-Петушки» // Альманах современной науки и образования. 2015. № 12 (102). С. 152–155.
21. Ерофеев В. В. Москва-Петушки // Ерофеев В. В. Собрание сочинений : в 2 т. М.: Вагриус, 2001. Т. 1. С. 19–166.
22. Комлева Г. А. Пространственная композиция фольклорной сказки // Проблемы исторической поэтики. 1992. Вып. 2. С. 67–73. URL: <http://poetica.pro/journal/article.php?id=2360> (дата обращения: 10.06.2019).
23. Шакиров С. М. О смысловой парадигме мотива дороги в русской лирике XIX–XX веков // Вестник Челябинского государственного университета. 2001. № 1(2). С. 22–59.
24. Потебня А. А. О некоторых символах славянской народной поэзии. О связи некоторых представлений в языке. О купальских огнях и сродных с ними представлениях. О доле и сродных с нею существах. Харьков: Изд-во М. В. Потебни, 1914. 243 с.
25. Бердяев Н. А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. 416 с.
26. Булгаков С. Н. Искусство и теургия. Фрагмент // Русская мысль. 1916. Год тридцать седьмой. Кн. XII. С. 1–24.
27. Флоренский П. А. Сочинения : в 4 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. 898 с.
28. Ортега-и-Гассет Х. Веласкес. Гойя. М.: Республика, 1997. 351 с.
29. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: А-сacд, 1994. 406 с.
30. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 376 с.
31. Аграновская М. А. Диего Веласкес. «Менины» // Партнер. 2007. № 2 (113). URL: https://www.maranat.de/agr_02_04.html (accessed: 14.06.2019).
32. Нагорная Н. А. Онейросфера в русской прозе XX века: модернизм, постмодернизм : автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 2004. URL: <http://cheloveknauka.com/oneyrosfera-v-russkoy-proze-xx-veka-modernizm-post-modernizm> (accessed 19.06.2019).

33. Ермолин Е. А. Проза духовного опыта как актуальный творческий эксперимент: трилогия Юрия Малецкого // Верхневолжский филологический вестник. 2015. № 3. С. 108–113.

References

1. Lotman Yu. M. Ponyatie granicy [Concept of boundary]. Lotman Yu. M. *Vnutri myslyashchih mirov* [Inside thinking worlds]. St. Petersburg, Azbuka, Azbuka-Attikus Publ., 2014, pp. 187–205. (In Russ.)
2. Burdin I. V., Bochkareva N. S. Russko-ispanskije paralleli stihotvoreniya Andrey Voznesenskogo «Goya» [Russian-Spanish parallels of Andrei Voznesensky's poem "Goya". *Mirovaya literatura v kontekste kul'tury*, 2012, no. 1(7), pp. 238–244. (In Russ.)
3. Cherkasova E. G. Obraz Ispanii v Rossii: proshloe i nastoyashchee [Image of Spain in Russia: past and present]. *Iberoamerikanskije tetradj*, 2016, no. 1 (11), pp. 108–115. (In Russ.)
4. Yurchik E. E. Obraz Ispanii v Rossii XVIII v. [Image of Spain in Russia of XVIII century]. *Ispaniya i Rossiya: diplomatiya i dialog kul'tur. Tri stoletiya otnoshenij. Espana y Rusia: diplomacia y dialogo de culturas. Tres siglos de relaciones* [Spain and Russia: diplomacy and dialog of cultures. Three centuries of relationships]. Moscow, Indrik Publ., 2018, pp. 131–139. (In Russ.)
5. Shamarina A. A. Tri «Don-Kihota» Pavla Antokol'skogo [Three «Don Quixotes» by Paul Antokolsky]. *Voprosy ibero-romanistiki*, 2017, no. 16, pp. 39–50. (In Russ.)
6. Ermolin E. A. Chudesa byvayut [Miracles happen]. *Novyj mir*, 2018, no. 1. Available at: http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2018_1/Content/Publication6_6818/Default.aspx (accessed 09.06.2019). (In Russ.)
7. Holkin V. I. Otkrovenie na vol'nye temy: Yuriy Maleckij [Revelation on free themes: Yuri Maletsky]. *Voprosy literatury*, 2018, no. 4, pp. 60–72. (In Russ.)
8. Dobrozrakova G. A. Osnovnye motivy avtopsihologicheskogo romana Yu. Maleckogo «Ulybnis' navsegda» [The main motives of the autopsychological novel by Yu. Maletsky «smile forever»]. *Hudozhestvennyy tekst: problemy chteniya i ponimaniya v sovremennom obshchestve* [Literary text: problems of reading and understanding in the modern society]. Sterlitamak, Sterlitamakskiy filial BashGU Publ., 2018, pp. 163–167. (In Russ.)
9. Fedotov G. P. Pis'ma o russkoj kul'ture: 1. Russkij chelovek [Letters about Russian culture: 1. Russian human]. *Russkie zapiski*, 1938, no. 3, pp. 239–260. (In Russ.)
10. Stepanov Yu. S. *Konstanty: Slovar' russkoj kul'tury* [Constants: Dictionary of Russian culture]. Moscow, Akademicheskij Proekt Publ., 2004, 992 p. (In Russ.)
11. Lotman Yu. M. O ponyatii geograficheskogo prostranstva v russkikh srednevekovykh tekstakh [On the concept of geographical space in Russian medi-

eval texts]. Lotman Yu. M. Selected articles. In 3 vol. Of vol. 1: Articles on semiotics and typology of culture. Tallinn, Aleksandra Publ., 1992, pp. 407–412. (In Russ.)

12. Lotman Yu. M., Uspenskij B. A. Rol' dual'nyh modelej v dinamike russkoj kul'tury (do konca XVIII veka) [The role of dual models in the dynamics of Russian culture (until the end of the XVIII century)]. Uspenskij B. A. *Izbrannye trudy. T. 1. Semiotika istorii. Semiotika kul'tury* [Selected works. Of vol.1. Semiotics of history. Semiotics of culture]. Moscow, Shkola «Yazyki russkoj kul'tury», 1996, pp. 338–380. (In Russ.)

13. Guminskij V. M. Put' na Zapad: russkaya literatura puteshestvij v poslepetrovskuyu epohu [The way to the West: Russian travel literature in the post-Petr era]. *Novaya kniga Rossii*, 2016, no. 3–6. URL: <http://www.voskres.ru/literature/library/guminskij1.htm> (accessed 16.06.2019). (In Russ.)

14. Kantor V. K. *Russkij evropeec kak yavlenie kul'tury (filosofsko-istoricheskij analiz)* [Russian European as a cultural phenomenon (philosophical and historical analysis)]. Moscow, Rossijskaya politicheskaya enciklopediya (ROSSPEN) Publ., 2001, 704 p. (In Russ.)

15. Uspenskij G. I. *Vypriamila* [She straightened]. Uspenskij G.I. Complete works. Of vol.10. Book 1. Moscow, Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1953, pp. 246–272. (In Russ.)

16. Propp V. Ya. *Istoricheskie korni volshebnoj skazki* [Historical origins of the fairy tale]. Moscow, Labirint, 2000. 336 p. (In Russ.)

17. Maleckij Yu. I. *Ulybnis' naveгда: roman i povesti* [Smile forever: a novel and stories]. St. Petersburg, Aleteya Publ., 2017, 318 p. (In Russ.)

18. Time G. Izgnanie kak puteshestvie: russkij vzglyad Drugogo (1920-e gody) [Exile as a journey: the Russian view of the Other (1920s)]. *Beglye vzglyady: Novoe prochtenie russkikh travelogov pervoj treti XX veka: Sbornik statej* [Fleet glances: New understanding of Russian travelogues of the early XX century: collected papers]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2010, pp. 235–246. (In Russ.)

19. Eliade M. *Svyashchennoe i mirskoe* [The sacred and the secular]. Moscow, MGU Publ., 1994, 144 p. (In Russ.)

20. Shkol'skaya A. O. Osobennosti hudozhestvennogo prostranstva v poeme Ven. Erofeeva «Moskva-Petushki» [Features of the artistic space in the poem of the Ven. Erofeev «Moscow-Petushki»]. *Al'manah sovremennoj nauki i obrazovaniya*, 2015, no. 12(102), pp. 152–155. (In Russ.)

21. Erofeev V. V. *Moskva-Petushki* [Moscow-Petushki]. Erofeev V. V. Collected works. In 2 vol. of vol. 1. Moscow, Vagrius, 2001, pp. 19–166. (In Russ.)

22. Komleva G. A. Prostranstvennaya kompoziciya fol'klornoj skazki [Spatial composition of folk tale]. *Problemy istoricheskoy poetiki*, 1992, iss. 2, pp. 67–73. Available at: <http://poetica.pro/journal/article.php?id=2360> (accessed 10.06.2019). (In Russ.)

23. Shakirov S. M. O smyslovoj paradigme motiva dorogi v russkoj lirike XIX-XX vekov [On the semantic paradigm of the motif of the road in Russian poetry of XIX-XX centuries]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2001, no. 1(2), pp. 22–59. (In Russ.)
24. Potebnya A. A. *O nekotoryh simvolah slavyanskoj narodnoj poezii. O svyazi nekotoryh predstavlenij v yazyke. O kupal'skih ognyah i srodney s nimi predstavleniyah. O dole i srodney s neyu sushchestvah* [On some symbols in Slavic folk poetry. On the connection of certain representations in the language. About Kupalo lights and views stuck with them. About the fatum and related creatures]. Kharkiv, M. V. Potebnya Publ., 1914. 243 p. (In Russ.)
25. Berdyayev N. A. *Samopoznanie: Opyt filosofskoj avtobiografii* [Self-knowledge: Experience of philosophical autobiography]. St. Petersburg, Azbuka, Azbuka-Attikus Publ., 2012. 416 p. (In Russ.)
26. Bulgakov S. N. *Iskusstvo i teurgiya*. Fragment [Art and Theurgy. Fragment]. *Russkaya mysl'*, 1916, book XII, pp. 1–24. (In Russ.)
27. Florenskij P. A. Works: in 4 vol. Of vol.2. Moscow, Mysl' Publ., 1996, 898 p. (In Russ.)
28. Ortega y Gasset J. *Velaskes. Goya* [Velazquez. Goya]. Moscow, Respublika Publ., 1997, 351 p. (In Russ.)
29. Foucault M. *Slova i veshchi. Arheologiya gumanitarnykh nauk* [Words and things. Archeology of the Humanities]. St. Petersburg, A-cad Publ., 1994, 406 p. (In Russ.)
30. Baschelard G. *Izbrannoe: Poetika prostranstva* [Selected works: Poetics of space]. Moscow, Rossijskaya politicheskaya enciklopediya (ROSSPEN) Publ., 2004, 376 p. (In Russ.)
31. Agranovskaya M. A. Diego Velaskes. «Meniny» [Diego Velazquez. «Las Meninas»]. *Partner*, 2007, no. 2 (113). Available at: https://www.maranat.de/agr_02_04.html (accessed 14.06.2019). (In Russ.)
32. Nagornaya N. A. *Oneirosfera v russkoj proze XX veka: modernizm, postmodernizm: avtoref. dokt. dis.* [Oneirosphere in the Russian prose of the XX century: modernism, postmodernism. Abstr. doct. diss.]. Moscow, 2004. Available at: <http://cheloveknauka.com/oneirosfera-v-russkoy-proze-xx-veka-modernizm-postmodernizm> (accessed 19.06.2019). (In Russ.)
33. Ermolin E. A. Proza duhovnogo opyta kak aktual'nyj tvorcheskij eksperiment: trilogiya Yuriya Maleckogo [Prose of spiritual experience as an actual creative experiment: Yuri Maletsky's trilogy]. *Verhnevolzhskij filologicheskij vestnik*, 2015, no. 3, pp. 108–113. (In Russ.)

С. Н. Зыков¹, Е. В. Яркова¹, И. В. Земцова²

¹Удмуртский государственный университет, Ижевск;

²СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар

Этнокультурные особенности проектной культуры традиционного дома коми

Проектная культура жилища коми формировалась веками под воздействием множества факторов природного, климатического, религиозного и другого толка. К отличительным особенностям коми дома как феномена национальной культуры авторы относят самобытный ансамбль взаимно обосновывающих друг друга сакрально-смысловых и конструкционных характеристик. Суровый климат побудил коми к возведению поистине грандиозных деревянных срубных построек в отдаленных от основной цивилизации северных краях. При этом процедура возведе²ния дома, характер бытования в нем человека, конструкция как всего дома, так и отдельных его элементов, эволюционируя на протяжении веков, обретали свою особую самобытную сакральную смысловую оболочку, основанную на менталитете и религиозных воззрениях коми.

Ключевые слова: традиционный дом коми, проектная культура, конструкционные особенности, сакрально-смысловая оболочка.

S. N. Zykov¹, E. V. Yarkova¹, I. V. Zemtsova²

¹Udmurt State University, Izhevsk;

² Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar

Ethnocultural Aspects of Design Culture with Regard to Traditional Komi Dwelling

The design culture with regard to the Komi dwelling has been shaped for centuries under the influence of multiple natural, climatic, religious, and other factors. The authors designate a unique set of mutually substantiating sacred, semantic, and design characteristics as the key features of the Komi dwelling as an ethnocultural phenomenon. Harsh environment prompted Komi to erect genuinely ambitious wooden log constructions in the Northern areas remote from the main civilization. Herewith, the erection procedure, the nature of the dwelling habitation, structure of the dwelling as a whole and its individual components have been

evolving over the course of history, acquiring their own distinctive sacred-semantic framework grounded on the Komi way of thinking and religious views. The article describes in details a number of aspects related thereto and produces some facts and justifications.

Keywords: *traditional Komi dwelling, design culture, design features, sacred-semantic framework.*

Самобытность и своеобразие проектной культуры коми формировались на протяжении веков под влиянием множества факторов. Среди них можно назвать природно-климатические условия, языческий характер культуры этого лесного народа, а также взаимодействие с культурами других этносов, проживающих на смежных территориях. Информацию об особенностях локализации и проектной культуре домов народа коми, проживавшего вдоль рек Печоры и Вычегды, а также верховий Камы, можно, в частности, почерпнуть из книги «Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты» [1]. Стоит отметить, что фактор взаимовлияния и взаимопроникновения традиций деревянного зодчества русских и коми некоторые исследователи долгое время рассматривали в контексте «экспансии» русской проектной культуры, не выделяя национальный дом коми как самостоятельный объект изучения. Профессор В. Б. Кошаев пишет об этом следующее: «... коми дом не описан как художественный объект отчасти из-за существующих представлений о вторичности по отношению к северорусскому дому и, отчасти, из-за своей *недекоративности* – отсутствия резного декора. Это абсолютно неверно, так как образная природа коми дома являет собой систему самостоятельных структурных позиций в масштабных, модульных, графических, объемно-пространственных, композиционно-пластических характеристиках» [2, с. 38]. Следствием существовавшего долгое время мнения о вторичности проектной культуры коми явилась недостаточная культурологическая и искусствоведческая изученность этого феномена национальной культуры, что и определяет актуальность проблематики исследования.

Самые ранние поселения коми описываются в книге «Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты» [1]. Эти поселения характеризовались произвольным, но достаточно упорядоченным расположением домов, что во многом определялось специфическими особенностями местности обитания коми, наличием водоемов и водных путей. Напри-

мер, для поселений вдоль рек Верхней и Средней Вычегды был характерен такой тип застройки, как прибрежно-рядовой. Необходимо отметить, что до принятия коми христианства центр поселения никак особо не выделялся: огромные деревянные строения, состоящие из нескольких срубов, имеющие обширные дворы с множеством хозяйственных построек, располагались друг от друга на значительном расстоянии. В более поздние времена локализацию центра можно было определить расположением церкви, но зачастую и это строение возводилось не в поселении, а на доминирующей над ним высоте. Интересно отметить, что вдали от основных построек располагались и некоторые хозяйственные постройки, а также бани. Бани возводились у водоемов, потому что требовали наличия легкодоступной воды и довольно часто страдали от пожаров.

Суровые условия жизни в лесных северных краях оказали существенное влияние на самобытные особенности языческой культуры коми, проектную составляющую которой, касающуюся возведения жилищ, невозможно рассматривать без сакрально-смыслового компонента. Взаимосвязь и переплетение материального и духовного составляют основу существовавшего феномена деревянного зодчества коми.

Дом (а также его отдельные элементы), в котором жили люди, в магическо-смысловом понимании имел особый статус, отражающий отношение к окружающему миру, созданному языческими богами. Исследователь И. В. Ильина в этнографических очерках «Традиционная культура народа коми» [3] описывает предания коми о том, что мир рождался и насыщался растениями и животными в сотрудничестве и соперничестве двух богов-демиургов, олицетворявших добро (Ен) и зло (Омоль). Например: Ен сотворил солнце, а Омоль, оторвав кусок от солнца, – луну; Ен создал собаку, а Омоль дал ей шерсть и т. д. После создания мира Боги-демиурги стали править каждый своим миром. Верхний, или небесный, мир, где властвовал Ен, был населен небесными людьми и имел богатый и разнообразный растительный и животный мир. Средний мир был миром обычных людей. Здесь не жили главные боги-демиурги, но были божественные существа (божества), покровительствующие какому-либо промыслу или деятельности, а также духи, отвечающие за природные стихии (например, дух огня). Нижним миром, которым правил бог-демиург Омоль, являлся последним пристани-

щем душ умерших. Все миры объединяло мировое древо. В повседневную жизнь людей, проживающих в среднем мире, боги-демиурги не вмешивались, и лишь иногда Ен открывал небеса (северное сияние) и исполнял просьбы людей. Человек с религиозным почтением относился ко всему, что создавалось богами. Исследователь В. П. Налимов в работе «Очерки по этнографии финно-угорских народов» [4] пишет о том, что религия воспринималась народом коми как своеобразный равноправный союз человека, всего живого, что окружало его, а также мифических божественных существ и духов. Коми боялись не кары небесной, а собственных неправильных поступков. Считалось недопустимым нарушение интересов кого-либо из них, потому что тот, кого обидели, жалуясь на свою судьбу, становился источником несчастья всем вокруг. Отражение описанных выше религиозных взглядов можно увидеть в проектной культуре. Рассмотрим примеры.

Традиционная планировка дома коми – изба-двойня. Люди, лошади, коровы, птицы жили здесь под одной кровлей, символизируя их равноправный союз. При возведении нижних венцов дома внутри сруба вкапывали молодую елочку или рябину с корнями в качестве трехчастного образа мирового древа, символизирующего будущее благополучие семьи и охранявшего дом от злых духов в период строительства. Внутреннее пространство дома также условно имело сакральную трехчастную структуру трех миров: подполье – нижний мир (здесь в ямке первоначально закапывали кости умершего хозяина или младенца); средний мир – жилое пространство избы; верхний мир – чердачные помещения. Наряду с наличием смыслового наполнения внутренних объемов, сакральными характеристиками обладала также древесина, из которой возводился дом, некоторые его конструктивные элементы.

Голбец. Это дощатое сооружение, расположенное около печи, внутри которого имелась лестница для входа в подполье, а снаружи лавка и ступени на полати. Издавна голбец символизировал переход из среднего мира людей в нижний мир мертвых.

Матица (у коми – матич) – срединная балка перекрытия потолка. Эта массивное подпотолочное бревно (брус) имело важное смысловое значение границы между средним миром людей и верхним миром бога Ена. Условная вертикальная плоскость, проходящая через матицу, выполняла береговую функцию, разделяя внутрен-

нее пространство избы на личное пространство хозяев дома и общее домовое/дворовое пространство: в своей работе И. В. Ильина пишет, что гость не имел права заходить за матицу без приглашения хозяина [3].

Деревья (их стволы, ветви, корни, листья) в языческой культуре лесного народа коми всегда имели магический статус. Например, как указывается в статье «Культ деревьев в предметно-пространственной среде коми-зырян как регламентированный сакральный феномен традиционной культуры» [5], рябина несла положительную энергетику и оберегала от бедствий и от нечистой силы. Но особо почитались хвойные породы деревьев, бревна из которых шли на возведение срубов. Ель почиталась как дерево богатства Ена. Это дерево, в котором жил дух вечности, нетленности и береговой силы, использовали в погребальных обрядах. Наряду с сакральной смысловой функцией хвойных пород деревьев их характеристики как строительного материала (диаметр и длина бревен, текстура и фактура, смолистость древесины) определяли тектонику формообразования дома коми. Даже его фундамент делался в основном на так называемых стульях (вкопанных в землю сосновых чурках), поскольку считалось, что каменный фундамент является «холодным».

Как отмечено в книге «Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты» [1], наиболее старым типом коми дома можно считать так называемую избудвойню. В самом названии здесь кроется главная конструктивная особенность строения – две отдельно возведенные избы, поставленные почти вплотную друг к другу. В этой связи необходимо подчеркнуть, что срубные жилые строения у коми имели значительные габариты (стены рубили в 15–17 венцов бревен большого диаметра при наличии высокого подклета), возведение каждой избы требовало значительных материальных и временных ресурсов. Поэтому дом мог строиться поэтапно, время между постройкой первого и второго сруба – достигать значительного времени, а каждый сруб обладать собственной односкатной кровлей (при последующем соединении изб кровли стыковались с образованием общей двускатной кровли). В случае отдельно стоящей односкатной избы следует обратить внимание на характерный конструктивно необходимый элемент «чиби» (рисунок 1), деревянной рамы, скрепляв-

шей князевое и венцевое бревна), которое описано исследователем И. Н. Шургиным [6]. Узкое длинное пространство между двумя поставленными рядом избами по торцам замыкалось перерубами и застилалось высоким полом (мостом). В зависимости от ширины моста получившийся объем мог называться и функционально использоваться по-разному (рисунок 2): «заулок» (дополнительный объем во внутреннем пространстве дома, образованный перерубами между жилой и хозяйственной частями, который служил связью между частями дома, образуя коридор); «задел» – дополнительный объем во внутреннем пространстве дома, образованный перерубом между жилой и хозяйственной частями, значительно более широкий (чем заулок), достаточный для устройства расположенных в нем дополнительных жилых или хозяйственных помещений.



Рисунок 1. Половина дома в качестве самостоятельной постройки [2] (с. Усть-Кулом). Конструктивный элемент – чиби. Фото В. Б. Кошаева

В зависимости от компоновки жилых и хозяйственных помещений можно отметить наличие трех вариантов домов: дом с двухэтажным хозяйственным двором; дом с хозяйственным двором в виде заднего пристроя; дом «покоем» вятского типа.

Дом с двухэтажным хозяйственным двором являлся наиболее распространенным. Он характеризовался четким, почти симметричным в плане разделением, где с одной стороны были жилые помещения, а с другой – двухъярусный крытый хозяйственный двор (рисунок 3). Нижний ярус двора служил конюшней и хлевом, а на втором этаже с помощью некапитальных перегородок устраивали кладовки для хранения утвари и одежды, а также поветь (коми

название – сарай) для хранения крупного хозяйственного инвентаря. Пол в хозяйственном дворе был очень прочным (настился из бревен или плах, крепился на столбах с перекладинами, врубался в капитальные стены). Снаружи хозяйственного размещался взвоз, по которому через большие ворота могла въезжать лошадь с телегой. Жилая часть дома состояла из летнего и зимнего помещений, а также высокого подклета, используемого в качестве кладовой или для проживания в летнее время.



Рисунок 2. Традиционный коми дом (с. Усть-Кулом) [2]. Конструктивные особенности: I – общий сруб состоит из набора срубов, соединенных перерубами; II – конструктивный элемент «заулок» (между срубными модулями); III – крытое крыльцо. Фото В. Б. Кошаева

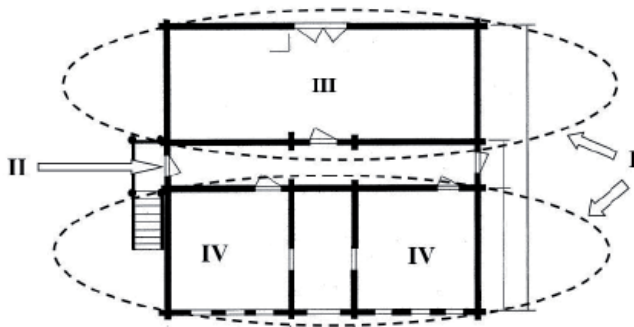


Рисунок 3. Функционально-зональное деление традиционного дома коми (с. Усть-Кулом) [2] (I – объемы основных изб; II – заулок; III – крытый двор; IV – симметрично расположенные объемы жилых помещений)

Дом с хозяйственным двором в виде заднего пристроя бытовал у коми реже по сравнению с предыдущим строением. Жилая изба, как и хозяйственные постройки, возводимые параллельно жилому дому, были в большинстве своем одноэтажные, имели обособленные кровли.

Дома с «П»-образным крытым двором вятского типа (дом «по-кормом») получил распространение в южных районах проживания коми. Здесь также хозяйственный двор был крытым в центре жилых и хозяйственных помещений. Все дворовое пространство перекрывалось единой кровлей, стыкующейся с кровлей дома.

Полы в традиционном коми доме были неотъемлемой его частью, потому что возводились вместе с домом при помощи врубок в стены. Для предотвращения промерзания зимой они настилались высоко (на высоте 1,5–2 метра) от земли, были многослойными (набирались из целых бревен снизу и плах сверху), имели подволоку и песчаную подсыпку. Нуждам максимальной теплоизоляции соответствовала и первоначальная конструкция окон дома. Они назывались «волоковые», были маленькие, расположенные под потолком, предназначенные для отвода печного дыма. Лишь позже с появлением стекла окна приобрели современный вид и расположение, но их наследие сугубой утилитарности осталось в виде крайне скудного декорирования.

Интерьер и быт крестьянского дома коми был также довольно аскетичен: единственный стол располагался в красном углу, имелись пристенные лавки, врубленные в стеновые бревна, небольшой столик у печи, сундуки, в которых хранилась одежда, семья спала на полатах и печи.

Говоря об этнокультурных особенностях проектной культуры народа коми в отношении его традиционных жилых строений, как видится, нельзя обойти вниманием вопрос о причинах формирования тех геометрических соотношений и пропорций изб, которые эволюционно сложились в этих северных краях. И первая из них – антропометрические характеристики мужчин коми, возводивших деревянные срубные сооружения. Именно эти размерные параметры стали для коми, как и для большинства древних народов, основой национальных систем мер. Для коми и северных русских, имеющих сходные общие антропометрические показатели, применялась так называемая саженная система измерений. Самой малень-

кой мерой саженной системы является вершок – ширина указательного и среднего пальцев (45 мм), за ним следует пядь (или четверть – $1/4$ аршина) – расстояние между большим и указательным пальцем (180 мм), далее локоть – длина от косточки локтевого сустава до первой фаланги согнутых пальцев (450–470 мм), аршин – длина всей руки от плеча (720 мм), простая (плотницкая) сажень – расстояние между большими пальцами вытянутых горизонтально рук (1500–1510 мм), косая сажень – рост человека с поднятой рукой (2136 мм) [7, 8]. Результаты современных замеров сохранившихся построек коми, зафиксированных в современной метрической системе, можно трансформировать в данную саженную систему и, проведя анализ, установить геометрическую систему, по которой в старину возводили дома коми.

По измерениям В. Б. Кошаева [2], четыре капитальные стены коми дома (рисунок 2) образовывали одно замкнутое жилое помещение с габаритными размерами примерно $15\,000 \times 15\,000$ мм. Сопоставив эти цифры с характеристиками саженной системы, можно сделать вывод, что наиболее близкая мера, с помощью которой могли проводить измерения при строительстве коми дома, – плотницкая сажень (1510 мм). Общие размеры дома в плане в этом случае составляли примерно 10 саженей (15100 мм). Поскольку расстояние между крайними перерубами составляет 4 сажени (с краев) и 2 сажени (по центру), можно утверждать, что в пропорциях дома присутствует размерная дихотомия, измерения производились инструментом, равным одной сажени. Кроме того, исходя из известных пропорциональных зависимостей саженных величин (по А. Ф. Черняеву [9]) можно определить средний рост плотника (мужчины коми) – 1744 мм, а также среднюю высоту помещений коми дома 2136 мм (рост плотника с поднятой рукой). Для выставления размеров в старину использовали плотничий наугольник (набор прутков разной длины либо мерный шнур с узелками, градуированный по сажням [10]), а разметка будущей постройки («окладывание» сруба) осуществлялась с использованием мерного шнура.

Произрастающие в районах проживания коми деревья, из которых возводились жилые дома, наряду с насыщением сакрально-обережными свойствами придавали строениям и специфичную внешнюю эстетику, обусловленную типоразмерными характеристиками пород деревьев и их свойств как строительного материала.

ла. Коми использовали стволы таких деревьев, как сосна, лиственница, ель, которые обладали низкой дуплистостью, прямизной, смолистостью (что обеспечивало высокую сопротивляемость гниению). На строительство стен шла в основном сосна и лиственница, а из ели изготавливали элементы конструкции кровли. На один сруб жилого дома в среднем шло 150 бревен деревьев, растущих на сухом грунте. Их рубили в начале весны или зимой, а для предотвращения гнили и защиты от червей «окоряли» и складывали для просушки на лето (иногда и на несколько лет). Интересно заметить, что по диаметру бревен, из которых сложены дома, можно судить о времени проживания людей в данной местности: у более старых построек диаметр бревен значительно больше. Исследователь П. Н. Максимов писал на этот счет [11], что в старину рубили избы из семи-вершкового леса (диаметр около 30 см), а позднее – из пятивершкового (диаметр около 22 см). Несомненно, это было вызвано тем, что первоначально вырубались наиболее крупные деревья, а затем – более мелкие. Если усреднить, то можно говорить о среднем диаметре используемых бревен в 25–40 см, а длиной – 5–10 м. Для возведения таких масштабных деревянных сооружений, как коми дом (длиной более 15 м), этого было недостаточно. Конечно, встречались и длинные бревна (от 12 до 16 м), но они были редки и неудобны в обращении, а практика сращивания бревен по длине, как указывает исследователь П. Н. Максимов [11], мало использовалась в России. Поэтому плотники при строительстве больших домов стыковали срубы. Стены обычно рубили «с остатком» (со значительным выпуском стеновых бревен за плоскость стены), что обеспечивало хорошую устойчивость сруба и способствовало защите областей угловых врубок от влаги, промерзания и продувания. Множество перерубов, возникающих при этом на стенах, безусловно, внесло свое эстетическое своеобразие.

Определенную самобытность, обусловленную особенностями обработки бревен сруба, можно зафиксировать и с внутренней стороны жилища, где стены стесывались снизу доверху при обязательном сохранении закругления бревен в углах. Это позволяло предотвратить промерзание углов зимой. Иногда бревна оставались нестесанными до 25 сантиметров от углов, что еще больше увеличивало термоизоляцию дома.

В качестве выводов об этнокультурных особенностях проектной культуры народа коми, исходя из вышеизложенной информации о традиционном доме, можно сказать следующее. Обрядовость и последовательность возведения дома, характер бытования в нем человека, конструкция всего дома и отдельных его элементов, эволюционируя на протяжении веков, всегда базировались как на антропометрических особенностях представителей народа коми, так и на менталитете, а также религиозных воззрениях коми. Например: дом являлся олицетворением трехчастной структуры мирового древа с нижним миром бога Омоля (подпол, подклет), средним миром людей (жилая часть) и верхним миром бога Ена (чердачные помещения); древесина стен дома образовывала круговую обережную ауру, наследуя сакральные свойства хвойных деревьев, из которых она состояла; дом был общим жилищем равноправных живых существ (включая человека), живущих под одной кровлей, обидеть которых не позволялось никому под страхом накликать беду на весь дом и его многочисленных обитателей. Бесспорно, необходимость существования человека под одной кровлей с домашними животными, так как и наличие некоторых специфических конструктивных особенностей, было связано не только с языческими мировоззрениями коми, но и с суровым северным климатом. Взаимопроникновение сакрально-смысловых, антропометрических и утилитарно-бытовых особенностей определили следующие основные самобытные характеристики жилища: большое количество срубов, расположенных под единой крышей различного функционального назначения, соединенных единым коридором («мостом»); наличие высокого подклета, многослойного пола, сохранение закруглений бревен во внутренних углах, рубка стен «с остатком» со значительным выпуском бревен за плоскость стены, волоковые окна (в древности) – для максимального сохранения тепла в холодное время года. При этом общие геометрические пропорции дома в основном сохраняли принцип дихотомии и были основаны на саженой системе мер. Большие размеры строения достигались поэтапным, в течение нескольких лет, возведением и соединением нескольких самостоятельных односкатных изб. Самобытный ансамбль взаимно обосновывающих друг друга конструктивных и сакрально-смысловых характеристик составляет важную часть проектной культуры северного народа коми.

Библиографический список

1. Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты. М.: Наука, 2000. 579 с.: ил.
2. Кошаев В. Б. Традиционное жилище народов Западного Приуралья. Культурогенез. Классификация. Искусство. Ижевск: Изд. дом «Удмуртский университет», 2001. 370 с.
3. Ильина И. В. Традиционная культура народа коми: этнографические очерки / И. В. Ильина, И. Л. Жеребцов, Н. Д. Конаков и др. Сыктывкар: Коми кн. издательство, 1994. 270 с.
4. Налимов В. П. Очерки по этнографии финно-угорских народов. Ижевск; Сыктывкар, 2010. 336 с.
5. Некрасов Р. В., Разалиева А. А. Культ деревьев в предметно-пространственной среде коми-зырян как регламентированный сакральный феномен традиционной культуры // Научные исследования современных ученых : XV межд. науч.-практ. конф. М.: Олимп, 2016. С. 34–38.
6. Шургин И. Н. Народное жилище коми и формирование северного дома-комплекса // Архитектурное наследие. М., 1990. № 37. С. 301–311.
7. Пилецкий А. А. Система величин, мер и пропорций в древнерусской архитектуре // Архитектура СССР. 1980. №10. С. 53.
8. Рыбаков Б. А. Русские системы мер длины XI–XV веков // Советская этнография. 1949. № 1. С. 67–91.
9. Черняев А. Ф. Золото Древней Руси. Русская матрица – основа золотых пропорций. М.: Белые альвы, 1998. 144 с.: ил.
10. Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры. Л.: Стройиздат, Ленингр. Отделение, 1984. 512 с.: ил.
11. Максимов, П. Н. Творческие методы древнерусских зодчих. М.: Стройиздат, 1976. 240 с.: ил.

References

1. *The peoples of the Volga and Ural regions. Komi-Zyryans. Komi-Permyaks. Mari. Mordva. Udmurts.* Moscow, Nauka, 2000, 579 p. (In Russ.).
2. Koshayev V. B. *The traditional dwelling of the peoples of the Western Urals. Cultural genesis. Classification. Art.* Izhevsk, Publ. House "Udmurt University", 2001, 370 p. (In Russ.).
3. Ilyina, I. V. *The traditional culture of the Komi people: ethnographic essays / I. V. Ilyina, I. L. Zherebtsov, N. D. Konakov and others.* Syktyvkar, Komi pr. publishing house, 1994, 270 p. (In Russ.).
4. Nalimov V. P. *Essays on the ethnography of Finno-Ugric peoples.* Izhevsk; Syktyvkar, 2010, 336 p. (In Russ.).
5. Nekrasov R. V., Razalieva A. A. Cult of trees in the subject-spatial environment of the Komi-Zyryans, as a regulated sacred phenomenon of traditional

culture. *Scientific researches of modern scientists. XV int. scientific-practical conf.* Moscow, Olimp Publishing House, 2016, pp. 34–38. (In Russ.).

6. Shurgin I. N. The national housing of the Komi Republic and the formation of the northern house-complex. *Architectural heritage*, 1990, no. 37, pp. 301–311. (In Russ.).

7. Piletsky A. A. The system of quantities, measures and proportions in Old Russian architecture. *Architecture of the USSR*, 1980, no. 10, p. 53. (In Russ.).

8. Rybakov B. A. The Russian system of measures of length of the XI-XV centuries. *Soviet ethnography*, 1949, no. 1, pp. 67–91.

9. Chernyaev A. F. *Gold of Ancient Russia. The Russian matrix – the basis of golden proportions*. Moscow, White Alves, 1998, 144 p. (In Russ.).

10. Pilyavsky V. I., Tits A. A., Ushakov Yu. S. *The History of Russian Architecture*. Leningrad, Stroyizdat, Leningrad. Branch, 1984, 512 p. (In Russ.).

11. Maksimov P. N. *Creative methods of ancient Russian architects*. Moscow, Stroyizdat, 1976, 240 p. (In Russ.).

О. Н. Иванищева

Мурманский арктический государственный университет, г. Мурманск

Фейки как разновидность социальной информации

В статье представлена специфика фейковой информации с точки зрения социально-психологического подхода. Показано, что, несмотря на мнение, что в понятие социальной информации не входит информация, которая направлена на дестабилизацию социального организма, фейковая информация относится к категории социальной информации, так как это сообщения, которые переданы любым понятным человеку кодом и содержат в себе сведения о процессах функционирования человека. Фейки имеют психологические основания, а структура общения журналиста с аудиторией в таком случае меняется коренным образом: в ситуации фейкового «общения» эта связь строится не на управляющей, а на подчинительной роли журналиста.

Ключевые слова: *фейки, социальная информация, социально-психологический подход.*

O. N. Ivanishcheva

Murmansk Arctic State University, Murmansk

Fakes as a Kind of Social Information

The article presents the specifics of fake information from the point of view of the socio-psychological approach. It is shown that, despite the opinion that the concept of social information does not include information that is aimed at destabilizing a social organism, fake information belongs to the category of social information, as it is messages that are transmitted by any code that is understandable to a person and contain information about processes of human functioning. Fakes have psychological grounds, and the structure of the journalist's communication with audience in this case changes radically: in a fake "communication" situation, this relationship is built not on a managerial role, but on a subordinate role of a journalist.

Keywords: *fakes, social information, socio-psychological approach.*

Введение

Что происходит в современном медиапространстве, почему фейки получили такое распространение, почему СМИ утратили доверие общества? «Люди теряют доверие к СМИ, которые не отражают реальный мир, в котором они живут», – уверена Салли Лерман, основатель организации Trust Project, которая занимается восстановлением доверия к СМИ [1]. Все эти факты связаны с цифровой революцией, появлением социальных сетей и цифровых медиа.

Проблема современного медиапространства состоит, по нашему мнению, в медиадистрибуции информации, в дисперсной публике (пространственно разделенных людей). Кроме того, в условиях избытка информации (кролик и окружающая его морковка в презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа) ценностью становятся заметность и время. За это и борются средства массовой информации: быть заметными и супербыстрыми. Заметность приводит к созданию собственной информации (фейки). Эта проблема уже настолько обозначилась, что о ней стали писать ведущие качественные медиа. В этом состоит **актуальность** статьи.

Цель работы – определить специфику фейковой информации как разновидности социальной информации с точки зрения социально-психологического подхода. **Новизна** работы обусловлена социально-психологическим подходом к анализу явления.

Основная часть

В последнее время многие критиковали Facebook за неспособность разобраться с распространением фальшивых новостей. Были мнения, что победа Трампа зависела от сообщений Facebook (см. о выборах президента Трампа в: [2, с. 181]). По информации сайта BuzzFeed, в последние три месяца президентской кампании фейк-новости о выборах в США на Facebook были более популярны среди пользователей, чем статьи таких крупных новостных ресурсов, как New York Times, Washington Post, Huffington Post, NBC News и т. д. В середине ноября 2016 года основатель компании Марк Цукерберг написал на своей странице: «Наша цель – в том, чтобы люди имели доступ к историям, которые им интересны. И мы знаем, что люди хотят получать точную информацию. Мы сами не хотим выступать

арбитрами истины, поэтому вместо этого полагаемся на проверенных третьих лиц и сообщество вокруг нас» [3].

В результате проведенного исследования по поводу потери доверия читателей ведущие СМИ пришли к следующим решениям: Mirror Group создала инструмент для определения, отвечает ли организация требованиям Trust Project, а также для сбора информации об авторе новостного материала; La Stampa разработала инструмент, который определяет общий уровень доверия к автору материала, основываясь на том, сколько похожих историй он написал ранее; Washington Post и BuzzFeed создали инструмент, который сканирует статью и находит в ней ссылки и источники, а затем делает эту информацию видимой для читателей; в BBC News Labs придумали способ показать читателям ту информацию, которую журналисты используют в процессе написания истории; издание Guardian создало инструмент, который специально предлагает читателям статьи с иной точкой зрения, чтобы расширить их информационное поле [1].

Бороться с мифами пытались социологи, использующие термин «гипернормализация» для описания всепроникающих фейков, и журналисты, пытающиеся рассказывать о проблеме читателям.

Понятие «социальная информация» до сих пор не определено, в науке нет устоявшейся дефиниции, но важно, что эта часть функционирования общества недостаточно оценена. Поэтому фейковые новости и представляют для нас сейчас такую проблему. Так, указывается, что в понятие социальной информации не входит информация, которая направлена на дестабилизацию социального организма [4, с. 53]. А тем не менее точное чтение социальной информации – это важный навык и большинство из нас уделяет огромное внимание практике. Но информационное наполнение цифровой культуры внесло кое-что новое в это положение: совершенно новый уровень зависимости от социальной информации и совершенно новый набор опасностей. Датские исследователи В. Ф. Хендрикс и П. Дж. Хансен дают этим процессам имя – «информационная буря», или инфоштурм, в смысле внезапного и бурного потока социальной информации – и предлагают альтернативу. Вместо того чтобы отчаиваться, решая, что теперь мы живем в эпоху «постправды», управляемой иррациональными силами, они утверждают в своей книге «Infostorms», что многие из сайтов цифрового мира на самом деле

являются результатом совершенно рационального принятия решений вовлеченными лицами и берут начало не столько в человеческой глупости, сколько в природе самих информационных сред [5].

Когда мы читаем о чем-то и не знаем, правда это или нет, мы доверяем пишущему, потому что, для того чтобы проверить или перепроверить сведения, у нас нет ни времени, ни желания, и мы подсознательно решаем, что раз кто-то пишет, то он знает. При этом возникает в памяти такой социальный феномен, как сплетни. В отечественной литературе сплетни анализируются прежде всего как речевой жанр, в том числе во взаимодействии с понятиями «молва» и «клевета» [см., например: 6; 7; 8]. Прототипом фейка ученые считают шутку [9, с. 141; 10]. В отечественной литературе представлена классификация фейковых новостей [11; 12; 13]. Фейки ассоциируются прежде всего с понятиями дезинформации, мистификации [9; 14], мисинформации [2]. Причем последняя является неосознанным распространением ложной информации в отличие от предыдущих [2, с. 181–182].

По нашему мнению, непроверенная информация (фейки, сплетни и др.) должна быть включена в дефиницию «социальная информация», так как она существенным образом влияет на общественное мнение. В литературе высказаны предположения о том, какие типы СМИ будут играть определяющую роль в ближайшем будущем, многие респонденты и участники опросов сошлись в том, что доминировать в медиаландшафте будут социальные сети и цифровые СМИ. Поэтому проблема объективности журналистики, тесно связанная с качеством информации, будет только обостряться. Дезинформация ведет себя как вирус. Ложные новости распространяются быстрее, глубже и дальше, чем правдивые истории. Ван дер Линден, руководитель Лаборатории принятия социальных решений в Кембриджском университете, пишет об эксперименте, в результате которого были выяснены некоторые закономерности восприятия ложной информации. Например, было выявлено, что более 97 % ученых-климатологов пришли к выводу, что люди несут ответственность за глобальное потепление, но большие группы общества все еще не могут поверить в это. На вопрос, какой процент ученых-климатологов согласны с тем, что вызванное человеком глобальное потепление происходит, только 49 % американцев ответили, что это более половины, и только 15 % правильно отве-

тили, что оно превышает 91 %. Ван дер Линден и его коллеги подготовили три документа. Во-первых, они написали «краткое изложение», объясняющее, что 97 % климатологов согласны с тем, что люди ответственны за изменение климата. Они также подготовили «контрсводку», раскрывающую недостатки в петиции штата Орегон – например, среди 31 000 имен петиции есть такие люди, как покойный Чарльз Дарвин и Spice Girls, и что менее 1 % подписавшихся являются учеными-климатологами. Наконец, они опросили 2 000 человек. Во-первых, они спросили их, насколько велик научный консенсус в отношении изменения климата, не глядя ни в один документ. Затем они разбили опрашиваемых на несколько групп: ту, которая увидела «краткое изложение», другую, которая увидела «Орегонскую петицию», и тех, кто увидел «краткое изложение» перед петицией. Результаты были интригующими. Когда участников сначала спросили о научном консенсусе по изменению климата, ученые подсчитали, что он составляет в среднем около 72 %. Но затем участники эксперимента изменили свои оценки на основе того, что они читают. Когда ученые предоставили группе «краткое изложение», средний показатель вырос до 90 %. Для тех, кто читает только Орегонскую петицию, средний показатель снизился до 63 %. Когда третья группа прочитала сначала «краткое изложение», а затем петицию среднее значение осталось неизменным по сравнению с первоначальными решениями участников, то есть 72 %. Таким образом, дезинформации удалось полностью «нейтрализовать» правильные данные.

Как бороться с таким положением вещей? Зарубежные ученые дают следующий ответ: прививка может дать нам преимущество против дезинформации.

Мир полон информации, и наш мозг имеет ограниченное время и возможности для ее обработки. Если вы видите морщинистого седовласого мужчину и кто-то говорит вам, что он пожилой человек, ваш мозг принимает это. Люди, работающие с дезинформацией, знают это и используют в своих интересах. «Когда информация легко обрабатывается, люди склонны кивать», – говорит Ньюман, который является соавтором обзора о том, как обращаться с ложной информацией. Мы слишком полагаемся на ярлыки, а не задаемся вопросом: «А сколько из них на самом деле ученых-климатологов?» Вместо этого мы просто принимаем число «31 000

ученых», потому что оно кажется правильным. Психологи называют этот способ мышления «Системой 1». Такой более автоматический способ мышления полезен для повседневной жизни, но уязвим для обмана. В быстроразвивающейся информационной экосистеме наш мозг переходит с одного поста Facebook на другой, полагаясь на практические правила для оценки заголовков и комментариев и без особого обдумывания каждого материала. Это благодатная почва для фальшивых новостей. Тем не менее «прививка заставляет наш мозг замедляться», – говорит ван дер Линден. Каждый раз, когда мы получаем прививку, мы показываем нашему организму образец болезни, достаточно маленькой, чтобы не чувствовать себя действительно больным, но достаточно сильной, чтобы вызвать реакцию. Этот нарушитель запускает нашу иммунную систему в действие и начинает строить защитные механизмы или антитела. Когда мы сталкиваемся с настоящей болезнью, наш организм распознает ее по фотографии и готов нанести ответный удар. Нечто подобное сделал ван дер Линден. Когда его команда предупредила участников, что другие могут попытаться обмануть их, они не приняли петицию штата Орегон за чистую монету. Они отвергли свое мышление «Системы 1» и подтолкнули к замене его своим двоюродным братом – более медленным, но более мощным способом мышления, который психологи называют «Системой 2». У этого подхода есть большой недостаток: требуется много времени и усилий для того, чтобы прививать людей индивидуально. Кроме того, если вы получаете контраргументы на отрицание климата, вы все равно можете быть уязвимы для поддельных новостей по другим темам.

«Существуют миллионы тем, по которым вы можете обмануть людей, – объясняет Дж. Рузенбек, который присоединился к команде ван дер Линдена в 2016 году. – Вы не можете «предсказать» каждую историю, потому что не знаете, где появляется следующая». Другая проблема заключается в том, что людям не нравится, когда им говорят, что является правдой, а что ложью. Обычно мы думаем, что знаем лучше. Вот почему эксперты в области педагогики обычно советуют педагогам активно участвовать в обучении. Поэтому исследователи из Кембриджа пришли к новой идее: что если мы научим людей тактике, используемой в индустрии фальшивых новостей? Результатом стала ролевая игра, в которой участни-

ки могли сыграть одного из четырех персонажей, от «паникера» до подражания «магнату кликбейта». Игра сфокусирована на поддельных новостных стратегиях, а не на темах. Когда офлайн-игра с поддельными новостями оказалась успешной на тесте с голландскими школьниками, они с помощью коллективного DROG расширили ее до онлайн-версии под названием Bad News.

Навигация по онлайн-игре занимает не более 15 минут. Вы запускаете фальшивый новостной сайт, становитесь его главным редактором, приобретаете армию ботов в Твиттере и направляете своих подписчиков на проверку благонамеренных фактов. На протяжении всей игры вы изучаете шесть различных приемов, используемых фальшивыми новостными магнатами: олицетворение, эмоциональная эксплуатация, поляризация, заговор, дискредитация и троллинг. Идея состоит в том, что в следующий раз, когда кто-то попытается использовать тактику против вас в социальных сетях, вы должны уметь их распознать.

Кажется, немного нелогично бороться с фальшивыми новостями, обучая людей тому, как стать дезинформационным магнатом, но ван дер Линден ожидает, что люди могут получить «стадную иммунизацию», если им достаточно поделиться этим в Интернете. Исследователи не знают, как долго продлится польза от прививки, если прививка будет работать вообще. Как вирус, дезинформация распространяется в быстро меняющейся среде и быстро адаптируется к новым условиям [15].

Выводы

Таким образом, фейки, безусловно, относятся к категории социальной информации, так как это сообщения, которые переданы любым понятным человеку кодом и содержат в себе сведения о процессах функционирования человека и общества, а также все то, что касается и может повлиять на эти процессы. Социальная информация опосредована факторами психологического плана и используется человеком для влияния на других людей [16, с. 98–99]. Фейки, как показывают наблюдения, имеют психологические основания: мы подсознательно верим тому, что прочитали, потому что нет времени и желания перепроверять. Об ограничении времени у пользователей информации писал еще У. Липман: «Время, которое мы можем ежедневно уделять прямому доступу к информации о невиди-

мом нами мире, весьма незначительно» [17, с. 80]. Фейковая информация влияет на формирование общественного мнения, потому что нет времени ее перепроверять, но она привлекательна по своему содержанию.

С точки зрения социально-психологического подхода коммуникация (в том числе массовая) – это процесс, посредством которого индивиды взаимодействуют и оказывают влияние друг на друга, это коммуникация психологическими факторами (подсознательными комплексами, установками, стереотипами), а не знаками. Особенно это актуально в эпоху Интернета, так как Интернет можно считать неким гибридным средством, которое позволяет реализовать как традиционные, так и новые формы индивидуальной и массовой коммуникации. В ситуации избытка информации, который создает Интернет, реципиент воспринимает информацию по-своему. Понятно, что структура общения журналиста с аудиторией в таком случае меняется коренным образом. Предварительным и обязательным условием информационного взаимодействия в сфере журналистики является установление контакта с «контрагентом», то есть налаживание связи с массовой аудиторией и социальными институтами. В ситуации фейкового «общения» эта связь строится на подчинительной роли журналиста, а не той роли, которую ей предписывает теория журналистики, где функциональными задачами журналистики являются управление сознанием и поведением адресата массовой коммуникации; формирование адекватной картины действительности, а также представлений о «желаемом будущем» и путях его достижения; определение жизненных позиций граждан; выработка отношения к различным явлениям жизни и др., то есть роли управляющей. А людям не нравится, когда ими управляют.

В результате приходим к некому парадоксу. С одной стороны, нам важна информация, информация должна быть доступна, коммуникация будет эффективна тогда, когда есть реакция на информацию, массовая коммуникация должна позитивно влиять на общество. Но, с другой стороны, какая же может быть реакция на информацию, если мы не знаем, насколько она истинна, не знаем, манипулируют ли нами или нет, и каково может быть влияние СМИ на общество, если развитие новых информационных технологий усиливает дисперсность публики? Разделенную (дисперсную) аудиторию легче использовать как объект фейковых новостей.

Библиографический список

1. Уэйкфилд Д. Простой плагин для браузеров выявляет фальшивые новости. URL: <https://www.bbc.com/russian/features-38190026> (дата обращения: 13.10.2019).
2. Самошкин Е. А. Институт борьбы с дезинформацией и мисинформацией в СМИ // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 2017. № 6. С. 176–190.
3. Facebook рассказал, как будет бороться с фейковыми новостями. URL: <https://expert.ru/2016/12/15/facebook-rasskazala/> (дата обращения: 13.10.2019).
4. Варганов В. В. Социальная информация: сущность и функция // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 93. С. 52–61.
5. Chatfield T. Why we believe fake news. URL: <http://www.bbc.com/future/story/20190905-how-our-brains-get-overloaded-by-the-21st-century?ocid=ww.social.link.email> (дата обращения: 15.09.2019).
6. Головкин Р. Б., Сорокина О. Е. Свобода и информация о частной жизни // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2012. № 1. С. 287–290.
7. Сайфулина Э. Р. Сплетня, ссора, лесть и др. как негативно оцениваемые речевые жанры (на примере пословиц о речевом поведении) // Вестник Башкирского университета. 2008. Т. 13. № 4. С. 986–989.
8. Халгаева Д. Д. «Светская хроника» как жанр женских электронных журналов : автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2015. 26 с.
9. Головацкая О. Е. Значение и происхождение термина «Fake news» // Коммуникология. 2019. Т. 7. № 2. С. 139–152.
10. Распопова С. С., Богдан Е. Н. Фейковые новости: природа происхождения // Вестник Челябинского государственного университета. 2017. № 11 (407). Филологические науки. Вып. 109. С. 48–53.
11. Жолудь Р. В. Фейковые новости в эпоху постправды: функциональные аспекты // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2019. № 3. С. 101–104.
12. Красовская Н. Р., Гуляев А. А., Юлина Г. Н. Фейковые новости как феномен современности // Власть. 2019. № 4. С. 79–82.
13. Суходолов А. П. Феномен «фейковых новостей» в современном медиапространстве // Евроазиатское сотрудничество: гуманитарные аспекты : материалы международной научно-практической конференции. Иркутск: Изд-во Байкальского государственного университета, 2017. С. 93–112.
14. Иссерс О. С. Медиафейки: между правдой и мистификацией // Коммуникативные исследования. 2014. № 2. С. 112–123.

15. Ortiz D. A. Could this be the cure for fake news. URL: <http://www.bbc.com/future/story/20181114-could-this-game-be-a-vaccine-against-fake-news> (дата обращения: 13.09.2019).

16. Иванов В. Ф. Социальная информация и ее свойства // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 2008. № 4. С. 96–107.

17. Липпман У. Общественное мнение. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с.

References

1. Uejkfild D. *Prostoj plugin dlya brauzerov vyyavlyayet fal'shivye novosti* [Simple Browser Plugin Detects Fake News]. (In Russ.) Available at: <https://www.bbc.com/russian/features-38190026> (accessed 13.10.2019).

2. Samoshkin E. A. Institut bor'by s dezinformaciej i misinformaciej v SMI [Institute for the fight against disinformation and misinformation in the media]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10. Zhurnalistika*, 2017, no. 6, pp. 176–190. (In Russ.)

3. *Facebook rasskazal, kak budet borot'sya s fejkovymi novostyami* [Facebook told how to deal with fake news]. (In Russ.) Available at: <https://expert.ru/2016/12/15/facebook-rasskazala/> (accessed 13.10.2019).

4. Varganov V. V. Social'naya informaciya: sushchnost' i funkciya [Social Information: Essence and Function]. *Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena*, 2009, no. 93, pp. 52–61. (In Russ.)

5. Chatfield T. *Why we believe fake news*. (In Eng.) Available at: <http://www.bbc.com/future/story/20190905-how-our-brains-get-overloaded-by-the-21st-century?ocid=ww.social.link.email> (accessed 15.09.2019).

6. Golovkin R. B., Sorokina O. E. Svoboda i informaciya o chastnoj zhizni [Freedom and privacy information]. *Probely v rossijskom zakonodatel'stve. Yuridicheskij zhurnal*, 2012, no. 1, pp. 287–290. (In Russ.)

7. Sajfulina E.R. Spletnya, ssora, lest' i dr. kak negativno ocenivaemye rechevye zhanry (na primere poslovic o rechevom povedenii) [Gossip, quarrel, flattery, etc. as negatively evaluated speech genres (for example, proverbs about speech behavior)]. *Vestnik Bashkirskogo universiteta*, 2008, vol. 13, no. 4, pp. 986–989. (In Russ.)

8. Halgaeva D. D. «Svetskaya hronika» kak zhanr zhenskih elektronnyh zhurnalov. Avtoref. cand. diss. [Secular Chronicle as a Genre of Women's Electronic Magazines. Abstr. cand. diss.]. Volgograd, 2015, 26 p. (In Russ.)

9. Golovackaya O. E. Znachenie i proiskhozhdenie termina «Fake news» [Meaning and origin of the term “Fake news”]. *Kommunikologiya*, 2019, vol. 7, no. 2, pp. 139–152. (In Russ.)

10. Raspopova S. S., Bogdan E. N. Fejkovyie novosti: priroda proiskhozhdeniya [Fake News: Nature of Origin]. *Vestnik CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, Filologicheskie nauki*, 2017, no. 11 (407), iss. 109, pp. 48–53. (In Russ.)

11. Zholud' R.V. Fejkovyie novosti v epohu postpravdy: funktsional'nye aspekty [Fake news in the post-truth era: functional aspects]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika*, 2019, no. 3, pp. 101–104. (In Russ.)

12. Krasovskaya N. R., Gulyaev A. A., Yulina G. N. Fejkovyie novosti kak fenomen sovremennosti [Fake news as a modern phenomenon]. *Vlast'*, 2019, no. 4, pp. 79–82. (In Russ.)

13. Suhodolov A. P. Fenomen «fejkovykh novostej» v sovremennom mediaprostranstve [The phenomenon of “fake news” in the modern media space]. *Evroaziatskoe sotrudnichestvo: gumanitarnye aspekty: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii*, Irkutsk: Izd-vo Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta, 2017, pp. 93–112. (In Russ.)

14. Issers O. S. Mediafejki: mezhdru pravdoj i mistifikatsiej [Media Fakes: between the truth and the hoax]. *Kommunikativnye issledovaniya*, 2014, no. 2, pp. 112–123. (In Russ.)

15. Ortiz D. A. *Could this be the cure for fake news*. (In Eng.) Available at: <http://www.bbc.com/future/story/20181114-could-this-game-be-a-vaccine-against-fake-news> (accessed 13.09.2019).

16. Ivanov V. F. Social'naya informatsiya i ee svoystva [Social information and its properties]. *Izvestiya YUzhnogo federal'nogo universiteta. Filologicheskie nauki*, 2008, no. 4, pp. 96–107. (In Russ.)

17. Lippman U. *Obshchestvennoe mnenie* [Public opinion]. Moscow, Institut Fonda «Obshchestvennoe mnenie», 2004, 384 p. (In Russ.)

К. В. Игаева, Н. В. Шмелева

Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина, Нижний Новгород

Кризис гегемонной маскулинности в западном кинематографе конца XX – начала XXI века

В статье рассматриваются вопросы трансформации гендерной идентичности в современном обществе потребления. В частности, речь идет о кризисе гегемонной маскулинности в западном кинематографе рубежа XX–XXI вв. Кинематограф и общество потребления взаимно влияют друг на друга. С одной стороны, киноиндустрия является средой для формирования некоторых гендерных стереотипов и нормативных моделей поведения, которые потом начинают тиражироваться в обществе. С другой стороны, кинематограф фиксирует и воспроизводит существующие гендерные клише, сложившиеся в обществе потребления.

Ключевые слова: кино, исследования культуры, гендерные исследования, общество потребления, гегемонная маскулинность.

K. V. Igaeva, N. V. Shmeleva

Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

The crisis of hegemonic masculinity in American and European cinematography of the late XX – early XXI century

The article considers the transformation of gender identity in a contemporary consumer society. It analyzes the crisis of hegemonic masculinity in American and European films at the turn of XX–XXI centuries. Cinema and consumer society mutually influence each other. On the one hand, the cultural industry is an environment for the formation of certain gender stereotypes and normative patterns of behavior, which then begin to be replicated in a society. On the other hand, cinema captures and reproduces existing gender clichés prevailing in a consumer society.

Keywords: films, cultural studies, gender studies, consumer society, hegemonic masculinity.

Вопросы гендерной идентичности широко обсуждаются в социальных исследованиях и философии культуры второй полови-

ны XX века. В условиях современности широко распространен тезис о кризисе традиционной маскулинности, который проявляется в изменении социальных норм, моды, стандартов красоты и популярных в кинематографе образов (Р. Хоррокс [1], С. Робинсон [2], С. М. Гувер [3]). Не менее широко обсуждается кризис культурной идентичности в условиях глобализации, связанный с пересмотром границ между приватной сферой и принадлежностью человека к разным коллективным сообществам (от семьи до нации) [4]. Как соотносятся между собой две эти проблемы? Усиливают ли эти кризисы друг друга, или какой-то один из них вбирает в себя другой? Данная статья не претендует на исчерпывающий ответ на эти вопросы, но на материале западного кинематографа конца XX – начала XXI века обозначает гипотезу для дальнейшего исследования этих масштабных процессов, продолжающих развиваться в современной культуре.

Позиции сторонников гендерных исследований достаточно известны. Американский социолог Майкл Киммел в своей работе «Гендерное общество» пишет, что в отличие от «пола», различия которого строятся на биологическом строении человека, «гендер» всегда определяют различия культурного значения. Поэтому в рамках социальных наук не может быть единого набора признаков, определяющих мужественность и женственность. Например, в американской культуре мужчину побуждают быть стоически выносливым ради доказательства своей мужественности, а в других культурах мужчина старается продемонстрировать свое сексуальное превосходство. Также определение «мужественности» может строиться на степени гражданской идентичности, эмоциональной восприимчивости или коллективном обеспечении потребностей общества [5]. При этом в рамках западного гендерного дискурса сложилось представление о некой доминантной маскулинности, представители которой обладают властью и привилегиями. Это белый молодой гетеросексуальный мужчина, имеющий приятную внешность, хорошую спортивную подготовку и высокий социальный статус.

Неудивительно, что такая характеристика «настоящего мужчины» привлекла к себе массу критики, в особенности среди исследователей феминизма. Дж. Батлер активно выступает против бинарной оппозиции маскулинности и феминности, по вине которой мужчина становится носителем власти и ассоциируется с си-

лой, умом и высоким статусом, а женщина – со слабостью и несамостоятельностью [6]. Р. Коннел подвергает сомнению существование только одной модели маскулинного поведения и выделяет гегемонный и протестный типы маскулинности, которые противостоят друг другу. Философ утверждает, что именно гегемонный тип является культурным образцом поведения в западноевропейском обществе. Все мужчины, которые не вписываются в данный тип, наравне с женщинами являются дискриминируемыми субъектами [7].

В работах феминисток, как правило, встречается термин «маскулинность», который в английском языке часто использовался как синоним понятия «мужественность». Российский филолог О. В. Котлярова пишет о том, что среди отечественных исследователей нет единого мнения относительно использования данных понятий [8]. В русском языке «маскулинность» считается категорией исключительно гендерной, а «мужественность» – термин, относящийся к моральной или аксиологической сфере. Рассматривая основные концепции западноевропейских феминистских исследователей, можно сказать, что «маскулинность» используется как комплексное понятие, включающее набор внешних половых признаков и свойственные ему качественные характеристики.

С 1970-х годов в гендерных исследованиях возникает проблема кризиса маскулинности. В рамках постиндустриального общества происходит изменение жизни людей и форм их социального взаимодействия. Как считают многие исследователи, именно переход от индустриальной стабильности с ее прагматизмом, традиционными патриархальными семейными ценностями и идеалами к мобильному постиндустриальному обществу, основанному на сфере услуг, стал причиной кризиса белой гетеросексуальной маскулинности. Современный западноевропейский мужчина все больше оказывается под давлением коммерческой культуры [9]. Эти изменения закреплялись в сознании людей посредством нормативных социальных вмешательств на всех уровнях социализации, что отразилось в разных культурных практиках, особенно в кино.

Классический голливудский кинематограф, создававшийся до постиндустриального общества, постоянно фокусировался на рассказах о мужественности. В рамках таких жанров, как вестерн, боевик, романтические комедии, мужчины представлялись в образах ковбоев, мушкетеров, отважных полицейских и работников спец-

служб, которые если не спасали мир, то защищали слабую, хрупкую, но прекрасную даму.

Изменения в сфере общественного сознания конца XX века стимулировали пересмотр образа маскулинности, когда черты гегемонной маскулинности стали переосмысливаться. Такие образы мужественности, как сила, власть, стремление к доминированию приобрели отрицательную коннотацию, а слабость мужчины и его необходимость подчиняться оказались проявлениями обновленной мужественности. В итоге под влиянием культурной среды кинематограф начинает транслировать совершенно иные образы «мужчин в кризисе», пик которых пришелся на 90-е гг. XX – начало XXI в. Не случайно распространенный в американском кинематографе образ супергероя вбирает и приумножает гегемонную маскулинность, постулируя идею о том, что гегемонная маскулинность в реалиях современной действительности выходит за рамки обыденной реальности и носит уникальный и случайный характер как приобретение героем сверхспособностей. В контексте образа супергероя гегемонная маскулинность оказывается нормой, в то время как в фильмах без супергероя подвергается трансформации.

Филипп Гейтс в своем исследовании мужественности в детективных фильмах «Открытие мужчин: маскулинность и голливудские детективные фильмы» («Detecting Men: Masculinity and the Hollywood Detective Film») перечисляет ряд работ 1999–2000-х гг., представляющих проблематику мужского кризиса, к которым относятся фильмы «Красота по-американски» (*American Beauty*, 1999), «Магнолия» (*Magnolia*, 1999), «Шестое чувство» (*The Sixth Sense*, 1999), «Пляж» (*The Beach*, 2000), «Помни» (*Memento*, 2000), «Неуязвимый» (*Unbreakable*, 2000). Центральные герои представленных фильмов переживают кризис гегемонной маскулинности, что связано с пересмотром нормативных и культурных ролей мужчины в обществе. Эта проблематика прослеживается в британских фильмах «Дело-труба» (*Brassed off*, 1996), «Мужской стриптиз» (*The full Monty*, 1997), «Билли Эллиот» (*Billy Eliot*, 2000). В перечисленных фильмах происходит пересмотр традиционных мужских ролей в связи с деиндустриализацией Великобритании во времена правления М. Тетчер [10].

Отдельно стоит остановиться на трех фильмах, которые относятся к данной проблеме: «Американский психопат» (*American Psycho*, 2000), «Бойцовский клуб» (*Fight Club*, 1999), «С меня хва-

тит!» (Falling Down, 1992). Эти фильмы демонстрируют обстановку современной городской среды и схожий конфликт между социальным порядком и мужской индивидуальностью. Главные герои – мужчины, чьи традиционно доминирующие позиции в обществе ставятся под сомнение посредством различных институтов и практик. Сотрудник одной из солидных организаций Патрик Бэйтман («Американский психопат»), который, казалось, имеет деньги, высокий социальный статус, красивую подружку, рискует полностью потерять мужскую идентичность и независимость в рамках общества потребления. Через убийства он пытается сублимировать напряженность, возникающую от чувства загнанности и отсутствия свободы. Вплоть до конца фильма он не имеет власти даже над собственной личной жизнью, так как состоит в отношениях с девушкой, навязанной ему обществом. Как выражается героиня, когда Бэйтман пытается расстаться с ней: «Но твои друзья – это мои друзья, а мои друзья – твои друзья».

В фильме «Бойцовский клуб» жизнь в подобных стереотипных рамках приводит главного героя к раздвоению личности. Он испытывает ощущение нервозности и скованности из-за потери собственной идентичности. Рассматривая каталог компании «Икея», главный герой сам себе задает вопрос: «Какой сервис может служить характеристикой моей личности?» Его альтер-эго Тайлер Дерден является полной противоположностью типичного представителя мужчин переходного этапа. Олицетворение мужественности в его традиционном понимании: силен, умен, самостоятелен и полностью отвергает приверженность современного общества к вещизму. «То, что ты имеешь, в конце концов имеет тебя!» – говорит Дерден, обозначая свою позицию.

В фильме «С меня хватит!» герой Уильям Фостер терпит не только психологическое притеснение, выражающееся в потере индивидуальности и свободы, но и социальное, экономическое и даже гендерное. Данный фильм фактически является олицетворением мужской кризисной действительности 90-х гг. Во-первых, главный герой, имеющий высшее инженерное образование и живущий по всем правилам добропорядочного гражданина, теряет работу и фактически не может обеспечить свое существование. Во-вторых, его жизнь подвергается опасности со стороны латиноамериканской банды и продавца-гомофоба армейского магазина, а корейский тор-

говец отказывается ему менять деньги, пока тот что-нибудь не купит. Таким образом, белый мужчина подвергается физическому и психологическому насилию со стороны исторически притесняемых национальных меньшинств в собственном городе. В-третьих, его бывшая жена судебным решением запретила ему видеться с дочерью, что, по сути, является прямым посягательством на его мужское естество, так как ребенок является прямым продолжением жизни его генетического материала.

Таким образом, в представленных фильмах белый гетеросексуальный мужчина среднего класса, который активно подвергался критике со стороны феминистического сообщества, сам предстает как наиболее дискриминируемый элемент социальной системы. Несмотря на то что главные герои бросают вызов принятым нормам и служат установлению нового порядка, свободного от социальных стереотипов, проблема потери маскулинной идентичности остается нерешенной.

Защищая мужчин, феминистка и философ культуры Сьюзан Бордо по этому поводу пишет: «Бессмысленно рассматривать мужчин как врагов, потому что большинство из них, равно как женщины, оказываются вовлеченными в институты и практики, которые они как личности не создавали и не контролируют, поэтому часто сами чувствуют себя тиранами» [11, с. 13].

Каждый из представленных фильмов, с одной стороны, оплакивает символическую смерть традиционного мужчины, с другой стороны, пытается вернуть его к жизни через различные формы насилия, гиперсексуальности, потребительскую анархию и/или другие культурные признаки так называемой традиционной мужественности. Голливудский кинематограф не только привлекал внимание к трагедии мужчин среднего возраста, потерявших свою идентичность, но и пытался снять напряженность по этому поводу в таких фильмах как «Американский пирог» (*American Pie*, 1999), «Таинственные люди» (*Mystery Men*, 1999), «Я, снова я и Ирэн» (*Me, Myself & Irene*, 2000), «Знакомство с родителями» (*Meet the Parents*, 2000), «Знакомство с Факерами» (*Meet the Fockers*, 2004). В данных картинах герои, несмотря на свои неудачи, не акцентируют внимание на пребывании в кризисе, а пытаются выйти из ситуации всеми доступными им способами. Таким образом, «фабрика грез» лавировала между современными культурными трендами и традиционны-

ми образами мужественности, что вызывало как тревогу и кризис, так и иронию в отношении «настоящих мужчин» [9, с. 15–16].

Стоит отметить, что тема кризиса оставалась очень популярной в кинематографе на протяжении целого десятилетия. Такие фильмы, как «Машинист» (The Machinist, 2004), «Одинокий мужчина» (A Single Man, 2009), «Психоаналитик» (Shrink, 2009), «Серьезный человек» (A Serious Man, 2010), «Убийца внутри меня» (The Killer Inside Me, 2010), «Бобер» (The Beaver, 2010), также повествуют о мужчинах, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Но в данном случае речь идет скорее о личностном кризисе, связанном с психологическими травмами или психическими заболеваниями. Отдельного внимания заслуживает картина Брюса Эванса «Кто вы, мистер Брукс?» (Mr. Brooks, 2007). Сюжет на первый взгляд очень схож с фильмом «Американский психопат». Главный герой Эрл Брукс – белый обеспеченный мужчина средних лет, имеющий успешный бизнес, красавицу жену, любимую дочь и страсть к убийству незнакомцев. Если сравнить данного героя с Патриком Бэйтманом, мы не увидим здесь ни нервозности, ни неуверенности, ни растерянности мужчины, потерявшего идентичность. Эрл Брукс статичен, уверен в себе, осторожен, умен, обладает высокой степенью ответственности за свою семью. Он не совершает лишних действий, каждый его шаг продуман и рассчитан. Такой мужчина вполне мог бы стать образцом гегемонного типа. В начале фильма жертвы этого хладнокровного убийцы были случайными, но в продолжении можно узнать «рыцаря», который совершает убийства для того чтобы защитить даму (дочь от тюрьмы, детектива Трейси Этвуд от неприятностей). Таким образом, автор сценария как бы иронизирует по поводу тех кризисных времен конца XX – начала XXI века. Мужчина гегемонного типа остается самим собой, даже если в качестве хобби убивает случайных граждан.

Данный образ гегемонной маскулинности отличает художественный мир культового режиссера современности Ларса фон Триера. В его фильмах «Антихрист» (Antichrist, 2009), «Меланхолия» (Melancholia, 2011), «Дом, который построил Джек» (The House That Jack Built, 2018) в центре внимания оказываются герои, стремящиеся перекроить реальность на свой лад, тем самым утвердив свое превосходство над миром. Его герои наглядно иллюстрируют идею несостоятельности образа гегемонной маскулинности в реа-

лиях современной действительности, когда изменение общественных ценностей выталкивает мужчину из привычной среды обитания, наделяя мужской типаж немужественными качествами. Такой разлад между классическим образом мужественности и современным в художественном мире Триера находит самое безобразное воплощение, доводя классический образ мужественности до абсурда.

Безусловно, тема «мужчины в кризисе» не является единственной или главной в кинематографе конца XX – начале XXI в., но при этом явно наблюдается тенденция к демонстрации более мягкого типа маскулинности. В таких знаковых фильмах, как «Титаник» (Titanic, 1997), «Форрест Гамп» (Forrest Gump, 1994), «Приведение» (Ghost, 1990), главные герои обладают традиционными маскулинными чертами: способностью нести ответственность за близких, патриархальным отношением к женщине. Но одновременно они сами обладают такими чертами характера, как чувствительность, романтичность, отсутствие стремления занимать лидерские позиции в жизни, традиционно приписываемые женщинам. Человечность, сострадание и терпеливость являются определяющими чертами главных героев культовых фильмов «Побег из Шоушенка» (The Shawshank Redemption, 1994) и «Зеленая миля» (The Green Mile, 1999).

Нужно отметить, что рассматриваемый тренд кризиса гегемонной маскулинности не универсален. Картины К. Тарантино и братьев Коэнов достаточно сильно выбиваются из мейнстрима и моделируют гегемонную маскулинность иначе. Как отмечает исследователь кино А. Павлов, «...Коэны (в меньшей степени) и Тарантино (в большей) продолжают снимать клевые фильмы, ориентированные скорее на мир кинематографа, нежели на реальность. В то время как другие авторы отчаянно вкладывают в свое кино смысл, пытаются что-то сказать о творчестве, героизме, любви, смерти и т.д. Тарантино (и Коэны) ориентируются на то, чтобы развлечь зрителя» [12, с. 6]

Показательно, что в конце XX – начале XXI века гегемонная маскулинность связана с продолжением и переосмыслением классических франшиз. В серии фильмов о Джеймсе Бонде, который сохраняет свое мужское лицо, представлена классическая гегемонная маскулинность. Но уже в подобных сюжетах начала XXI века наблюдается изменение центрального персонажа. Например, в образе Джейсона Борна («Идентификация Борна», The Bourne Identity, 2002) наряду с чертами гегемонной маскулинности проявляются новые качества, расширяющие ее.

Многообразие жанров кино закрепило образ гегемонной маскулинности за героями вестернов, фильмов-катастроф, супергероики, где эти образы гиперболизированы. Конкурировать с ними «средним» персонажам не особо удастся, а потому кинематограф в рамках реалистических сюжетов все глубже пытается познать мужской мир, выбирая классические мужские типажи, находящиеся в типичной ситуации, что и подрывает авторитет гегемонной маскулинности. Если обратиться к жанру ужасов, то гегемонная маскулинность приобретает демонический облик, все больше идентифицируясь с силами зла, что символично. Вместе с этим в мелодрамах образ мужчины становится более чувственным, а в комедиях – более эпатажным.

Подводя итоги, стоит отметить, что кризис традиционной маскулинности становится лишь одной из составляющих более масштабного кризиса культурной идентичности, в рамках которого не социально-экономические факторы, но личностные и экзистенциальные проблемы играют все большую роль. При этом гегемонная маскулинность меняет свои внешние формы, становится менее брутальной и агонистичной, но продолжает занимать свое привилегированное положение в иерархии других типов маскулинности. То есть кризис преодолевается за счет вытеснения проблем из социально-культурной в личностную плоскость. В этом смысле и гендерные отношения, и кинематограф как фабрика, разрабатывающая нормативные модели поведения, оказываются неотъемлемой частью неолиберальной культурной гегемонии.

Библиографический список

1. Horrocks R. Masculinity in Crisis. Myths, Fantasies and Realities. N.Y.: St. Martin's Press, 1994. 219 p.
2. Robinson S. Marked Men. White Masculinity in Crisis. N.Y.: Columbia University Press, 2000. 285 p.
3. Hoover S. M., Coats C.D. Does God Make the Man? Media, Religion and the Crisis of Masculinity. N.Y., L.: New York University Press, 2015. 236 p.
4. Римская О. Н. Кризис личностной идентичности в постсовременной культуре // Наука. Искусство. Культура. 2014. № 3. С. 25-33.
5. Киммел М. Гендерное общество. М.: РОССПЭН, 2006. 464 с.
6. Butler, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. N.Y., L.: Routledge, 1990. 170 p.
7. Connell R. W. Masculinities. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2005. 324 p.

8. Котлярова О. В. Мужественность и женственность, маскулинность и феминность как фундаментальные свойства в формате гендеристики // *Universum: Филология и искусствоведение*. 2015. № 9–10. URL: <http://7universum.com/ru/philology/archive/item/2650> (дата обращения: 07.12.2019).

9. Deakin P. *Masculine Identity in Crisis in Hollywood's Fin de Millennium Cinema*. Diss...PhD. The University of Manchester, 2012.192 p.

10. Gates Ph. *Detecting Men: Masculinity and the Hollywood Detective Film*. Albany: State University of New York Press, 2006. 358 p.

11. Bordo S. *The Male Body: A New Look at Men in Public and Private*. N. Y.: Farrar, Straus and Giroux; 1999. 358 p.

12. Павлов А. В. Бесславные ублюдки, бешеные псы. Вселенная Квентина Тарантино. М.: РАНХиГС, 2018. 400 с.

References

1. Horrocks R. *Masculinity in Crisis. Myths, Fantasies and Realities*. N.Y.: St.Martin's Press, 1994, 219 p.

2. Robinson S. *Marked Men. White Masculinity in Crisis*. N.Y.: Columbia University Press, 2000, 285 p.

3. Hoover S. M., Coats C. D. *Does God Make the Man? Media, Religion and the Crisis of Masculinity*. N.Y., L.: New York University Press, 2015, 236 p.

4. Rimskaya O. N. Krizis lichnostnoj identichnosti v postsovremennoj kul'ture [The crisis of personal identity in post-modern culture]. *Nauka. Iskusstvo. Kul'tura*. 2014, no. 3, pp. 25-33. (In Russ.)

5. Kimmel M. *Gendernoe obshchestvo* [Gender society]. Moscow, POCCPEN, 2006, 464 p. (In Russ.)

6. Butler, J. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. N. Y., L.: Routledge, 1990. 170 p.

7. Connell R. W. *Masculinities*. Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 2005, 324 p.

8. Kotlyarova O. V. Muzhestvennost' i zhenstvennost', maskulinnost' i feminnost' kak fundamental'nye svojstva v formate genderistiki [Masculinity and femininity, masculinity and femininity as fundamental properties in the format of gender]. *Universum: Filologiya i iskusstvovedenie*, 2015, no. 9-10. (In Russ.) Available at: <http://7universum.com/ru/philology/archive/item/2650> (accessed 07.12.2019).

9. Deakin P. *Masculine Identity in Crisis in Hollywood's Fin de Millennium Cinema*. Diss...PhD. The University of Manchester, 2012.192 p.

10. Gates Ph. *Detecting Men: Masculinity and the Hollywood Detective Film*. Albany, State University of New York Press, 2006, 358 p.

11. Bordo S. *The Male Body: A New Look at Men in Public and Private*. N. Y.: Farrar, Straus and Giroux; 1999, 358 p.

12. Pavlov A. V. *Besslavnye ublyudki, beshenye psy. Vselennaya Kventina Tarantino* [Inglourious Basterds, Mad Dogs. Quentin Tarantino Universe]. Moscow, RANHiGS, 2018, 400 p. (In Russ.)

Материалы, публикуемые
в рамках международного Симпозиума
**«RELATE NORTH – 2019: традиции и инновации
в образовательном пространстве искусства и дизайна»**
(10–16 ноября 2019 года, г. Сыктывкар)

УДК 008

DOI: 10.34130/2233-1277-2020-1-84-99

Timo Jokela, Glen Coutts and Maria Huhmarniemi

University of Lapland, Rovaniemi, Finland

Tradition and Innovation in Arctic Sustainable Art and Design

In this article we explore the discourse of traditions and innovations in art and design education in the North and the Arctic regions. In the first section we introduce the concept of Arctic Sustainable Arts and Design (AAD) that has been initiated in research conducted in the Arctic Sustainable Arts and Design network within the University of Arctic (ASAD). In the second section, we discuss the rapid changes and so-called ‘megatrends’ (Nordic Council of Ministers, 2011), facing Northern and Arctic communities, particularly climate change, globalisation, urbanisation, unemployment and shifting demographics require solutions. We are interested in how AAD addresses the challenges in the social, cultural and economic settings and post-colonial situation of the area. The Arctic and northern circumstances can be viewed as a ‘laboratory’ for a new genre of art and design education (Jokela & Coutts, 2018b; Huhmarniemi & Jokela, 2020). In the third section, we explore the potential of a sustainable intersection between northern cultural traditions and new innovation to foster cultural life in the Arctic. We discuss ways to strengthen vitality and regional development through art, design and culture based on our experiences and research by members of the ASAD network and the Arctic Arts Summit 2019 (Huhmarniemi & Jokela, 2020). We also examine place-based regional

© Timo Jokela, Glen Coutts and Maria Huhmarniemi, 2020

development approaches and decolonisation and revitalisation activities in AAD education.

Keywords: *sustainable art and design, Arctic and Northern society, cultural tradition, innovation, globalization, urbanization, environment.*

Тимо Йокела, Глен Коуттс и Мария Хухмарниemi

Лапландский университет, Рованиemi, Финляндия

Традиции и инновации в устойчивом искусстве и дизайне Арктики

В статье мы рассматриваем дискурс традиций и инноваций в образовании в сфере искусства и дизайна на Севере и в Арктическом регионе. В первом разделе мы представляем концепцию Устойчивого арктического искусства и дизайна (AAD), которая берет свое начало в исследованиях, проводимых тематической сетью «Арктическое устойчивое искусство и дизайн» (ASAD) Университета Арктики. Во втором разделе мы обсуждаем стремительные изменения и так называемые мегатенденции (Совет Министров Северных Стран, 2011), с которыми сталкиваются северные и арктические сообщества, в частности изменения климата, глобализация, урбанизация, безработица и изменения демографической ситуации – все эти проблемы требуют решения. Нас интересует, как AAD помогает решать проблемы в социальной, культурной и экономической обстановке и в условиях постколониальной ситуации в регионе. Арктические и северные условия можно рассматривать как «лабораторию» для развития нового жанра художественного и дизайнерского образования (Йокел и Коуттс, 2018b, Хухмарниemi и Йокела, 2020). В третьем разделе мы исследуем потенциал устойчивых взаимосвязей между северными культурными традициями и инновациями последнего времени для развития культурной жизни в Арктике. Мы рассматриваем пути укрепления жизнеспособности и регионального развития через искусство, дизайн и культуру на основе нашего собственного опыта и исследований членов сети ASAD и на основе Арктического Саммита Искусств в 2019 году (Хухмарниemi и Йокела, 2020). Мы также рассматриваем подходы регионального развития на местах и мероприятия по деколонизации и активизации в обучении AAD (искусству и дизайну устойчивой Арктики).

Ключевые слова: *устойчивое искусство и дизайн, Арктика и северные сообщества, культурная традиция, инновации, глобализация, урбанизация, окружающая среда.*

Introduction

In this article we explore the discourse of traditions and innovations in art and design education in the North and the Arctic regions. In the first section we introduce the concept of *Arctic Sustainable Arts and Design (AAD)* that has been initiated in research conducted in the *Arctic Sustainable Arts and Design network* within the University of Arctic (ASAD). Since its inception in 2012, ASAD has sought to “identify and share contemporary and innovative practices in teaching, learning, research and knowledge exchange in the fields of arts, design and visual culture education” (ASAD, 2019). The organization is one of the thematic networks of the University of the Arctic that aim to “foster issues-based cooperation within networks that are focused but flexible enough to respond quickly to topical Arctic issues” (University of the Arctic, 2019).

In the second section, we discuss the rapid changes and so-called ‘megatrends’ (Nordic Council of Ministers, 2011), facing Northern and Arctic communities, particularly climate change, globalisation, urbanisation, unemployment and shifting demographics require solutions. We are interested in how AAD addresses the challenges in the social, cultural and economic settings and post-colonial situation of the area. On one hand, there is a cultural and linguistic diversity within the Arctic area due to the indigenous populations and other local people inhabiting the area, thus protecting cultural traditions is one of the key issues when discussing social and cultural sustainability here. On the other hand, the Arctic is developing into an important hub of the twenty-first century; industrially, socially and politically. We believe that the economic potential of the region should be harnessed in an innovative way that brings prosperity and guarantees the livelihood and positive social-cultural development of Arctic inhabitants and communities. The Arctic and northern circumstances can be viewed as a ‘laboratory’ for a new genre of art and design education (Jokela & Coutts, 2018b; Huhmarniemi & Jokela, 2020).

In the third section, we explore the potential of a sustainable intersection between northern cultural traditions and new innovation to foster cultural life in the Arctic. This is especially important in remote regions and in multi-ethnic communities. We discuss ways to strengthen vitality and regional development through art, design and culture based on our experiences and research by members of the ASAD network and the Arctic Arts Summit 2019 (Huhmarniemi & Jokela, 2020). We also examine

place-based regional development approaches and decolonisation and revitalisation activities in AAD education.

In the context of indigenous art, cultural and educational research, decolonisation (Smith, 1999) had gained prominence. Kuokkanen (2000) suggested the idea of an 'indigenous paradigm', that would be based on concerns, worldviews and cultural practices at the core of indigenous perspective. She agreed Smith (1999) by stating that a key objective is to challenge the Western Eurocentric mindset as well as Western ways of knowing and researching. Thus, the need for decolonisation of the methodologies of indigenous research and education has been noticed. Indigenous paradigm and knowledge system have contributed to indigenous research in the areas of art, design and culture (Guttorm, 2014), and we need to develop, re-conceptualize practices and theories in teaching and learning art and design in Arctic. The term 'northern knowledge system' (Huhmarniemi & Jokela, 2020) was derived from the indigenous knowledge system. It refers to shared traditions, a historic understanding of nature and the use of natural materials in Arctic crafts, arts and livelihoods. We propose that northern knowledge system has much to offer in art and design education and further research is needed on it.

The concept of innovation is often seen as almost the opposite of tradition. In the areas of art and design, for example, the notion of innovation often equates with original, new and unusual solutions (usually products) for business, market and commercial applications. In short, innovation is often linked in people's minds with novelty and even revolutionary approaches or inventions. Sometimes the concept is also associated with expensive solutions. The idea of tradition, however, is often associated with customs, conventions, habits even ritual and ceremony. Our view is that there may be fruitful ground to be explored in the intellectual and pragmatic space between the two notions just as there is much to be gained from locating theory and practise at the confluence of art, design and education.

What is Sustainable Arctic Art and Design?

Our model of AAD embraces both tradition and innovation. It melds contemporary art, service and product design and media productions when investigating Arctic themes, such as Arctic sustainability, heritage and future ways of representing ways of life and identity. AAD practise

may include, for example, productions made using indigenous art and non-indigenous art. As a concept, AAD includes a dimension of cultural politics, since it is used to highlight specificities of the art and design in Arctic and to promote cultural sustainability, diversity, ecological turn, transform of traditions as well as an awareness of cultural richness and diversity. AAD is a parallel concept to *Arctic art* (Jokela, Huhmarniemi & Hautala-Hirvioja, 2019; Huhmarniemi & Jokela, 2020) and is defined in a similar way through concepts of changing traditions, sustainability and political aspiration. The focus of our interest is on art, crafts and design productions that study, represent and reform local traditions, create new meanings with them and implement local knowledge on new forms of expression and innovation. In this article, we focus on AAD that is benefit-oriented, even though it might also have intrinsic value. AAD, especially place-based artistic production and service design, is expected to deliver innovative and creative solutions to problems faced by Arctic communities. The concept of applied visual arts (Jokela, 2013) is also used to promote the potential of arts to society and the wider economy.

Even if AAD is a well-established concept among the researchers in the ASAD network and beyond in the academy, artists and designers commonly identify themselves as Northerners rather than Arctic artists (Huhmarniemi & Jokela, 2020). The concept of Nordicity would also be relevant for analysing art and design in the Arctic. It refers physical reality as well as to subjective experiences and social imaginaries, ideology including visions and values and so-called ‘total Nordicity’ that embodies world views, knowledge systems, know-how in the arts and humanities (Beaulé & De Coninck, 2018). However, the concept of the AAD, in our view, can be used to draw attention to the potential of intertwining art, design and innovation. AAD is based on an alternative way of seeing art, design and crafts as interwoven and integrated into ecocultural life in North – instead of dualistic Western way of separating art, design and crafts into disciplines of their own (Jokela, 2017; Huhmarniemi & Jokela, 2020). The approach, existing as it does in between art, design, craft and innovation is evident, for example, in Sámi duodji (Guttorm, 2015) and the community art of crafted sustainability (Härkönen, Huhmarniemi & Jokela, 2018). Similarly, the development of snow and ice architecture (Jokela, 2014), public art implementing service design and co-design (Härkönen & Vuontisjärvi, 2018) and the creation of new arts-based

services for various sectors of society (Huhmarniemi, Kugapi, Miettinen & Laivamaa, Forthcoming) are further examples of AAD in action.

The discussion on sustainable development and sustainability more generally, has various connotations in Arctic research (Huhmarniemi & Jokela, 2020; Tennberg, Lempinen & Pirnes, 2019). Typically, economic profit underpins political decisions and the direction of ‘development’ leading to large-scale and industrial use of natural resources. In contrast, the need for sustainability is argued to support efforts to protect fragile natural environments and communities at risk. This can lead to conflict among locals facing changes caused by globalisation and climate crises. Educational research has also added new layers of meaning to sustainable development and sustainability. It is increasingly argued, that education should not be for economy but for people and global good, therefore discourses have been reframed by education for sustainability (Clarke, 2012) and post-sustainability (Jickling & Sterling, 2017). In this article, we follow the definition of sustainability as practised beyond politics, by researchers Monica Tennberg, Hanna Lempinen and Susanna Pirnes (2019). In this sense, sustainability is a way of thinking; an effort to respect diverse traditions, localities and future imaginaries in the Arctic. We contend that Arctic sustainability demands development of creative practises, namely AAD, as well as a creative and renewable economy, cross-sectoral collaboration as well as collaboration between indigenous and non-indigenous cultures.

In the research carried out in ASAD, a special focus has been placed on the means of AAD to contribute to sustainability (Jokela & Coutts, 2018). Sustainability has been researched as part of art curatorial practice (Jónsdóttir, 2017), education (Macdonald & Jonsdottir, 2014) and in interventions in culturally diverse communities (Hiltunen, Mikkonen & Laitinen, Forthcoming), and benefits of inter- and transdisciplinary methods for cultural sustainability (Härkönen & Stöckell, 2019). Ethical procedures have been employed in all AAD interventions and methods for dialogue and long-term commitment have been emphasised (Huhmarniemi, 2019; Jokela, 2020)

Changes

Rapid ecological, social and cultural change in Arctic is affecting the wellbeing and cultures of people living in the region. Researchers in wide ranged of academic disciplines have noted these shifting circumstances.

Studies conducted by the Nordic Council of Ministers (2011) define evident 'megatrends' like climate change, globalisation and urbanisation that are taking place in the Arctic and Northern regions. Climate crises has profound consequences for the human and non-human inhabitants. Globalization and urbanization have significant impact on Arctic communities and their cultures. Young generation increasingly migrate from rural environments to urban settings. Concentration of population in larger towns and cities can be beneficial for AAD; cities are commonly seen as creative hubs where creative industries have potential to blossom. At the same time less people live full-time in villages. Social challenges, and difficulties or impossibility to maintain services in remote and shrinking villages has been seen as one need for development of Arctic service design. A complex set of factors are at play concerning not just where people live, but also issues of cultural identity: who are the people of the North, what is at the core of their culture and how they live in terms of economic well-being and socio-political dimensions (Nordic Council of Ministers, 2011).

An important factor for the development of AAD is the effect of the diversity of the ecosystems to the diversity of indigenous and non-indigenous cultures in the North and the Arctic. Ecosystems influence the types of social relations that are established in particular place-specific cultures. The social relations in fishing societies, for example, differ in many ways from those in agricultural societies, nomadic reindeer hearing communities and centres of international nature tourism. According researcher on Arctic studies, Kathrin Stephen (2018), the climate crisis has caused changes in traditional livelihoods such as harvesting, hunting and fishing cultures. Further on, these changes have a expanding impact on traditional knowledge, cultural identities and world views (Stephen, 2018). The climate crisis has brought about changes in the ecosystems and has had effects on socio-economic and political realities, which has affected the cultures and identity of arctic indigenous populations (Stephen, 2018). We argue this is the case also in many northern and arctic non-indigenous communities, whose culture is bound to nature and traditional livelihoods.

A further identifiable effect of globalisation and urbanisation is that young people from northern areas increasingly move south to seek a wider range of educational opportunity, normally to larger towns and cities. This has consequences for the smaller towns and villages, a

clear demographic trend towards an older population, unemployment amongst young people and a paucity of leisure and cultural activity. There can also be health and wellbeing issues related to loss of cultural identity (Karlsdóttir & Junsberg, 2015). According to literature researcher Daniel Chartier (2017) to understand the circumpolar world well, it is necessary to take into consideration the urban and non-urban problems that characterize it.

Following Chartier (2017), the North can be thought of as an 'intercultural laboratory' – a place where indigenous and non-indigenous peoples meet. It is estimated that there are around 4 million people living in the Arctic. That includes more than 40 indigenous groups and languages. Indigenous people account for 10% of the entire population of the Arctic (AHDR, 2015). The melding of cultures and lifestyles is common across the circumpolar region and this situation creates sociocultural challenges that can become politically charged in the postcolonial context of the area.

Place-making and regional development

Since the establishment of the ASAD network, in 2012, one of the prime issues of the research among the network was how to foster cultural life in the Arctic, especially in remote regions with multi-ethnic communities and how to strengthen vitality and regional development through art and culture.

Among ASAD partners, the art and design activities in northern locations and communities are closely connected to place-based strategy, which is also known as place-making and can also be understood as economic development strategy (Jokela et al, Forthcoming). Place-based strategies are extensively studied as part of the place-based art (Jokela, 2013) but they also involve using places and a community's capacities to make economic progress (Milone & Ventura, 2010; Vodden, Gibson, & Baldacchino, 2015). Building on existing infrastructures, skills and strengths, this approach focuses on culture and the unique features of particular places to boost existing businesses and create new ones and even attract new investment. According to Daniels, Baldacchino, and Vodden (2015), place-based strategy is a reaction to conventional top-down, single-sector, national-stage development projects. Thus, place-making can also be understood as an identity policy for remote, rural and peripheral places that are centres for their inhabitants.

But who's places we are talking about? The blending of indigenous cultures and other lifestyles of the people in Arctic is typical to the region. Complexity is a defining feature of the Arctic's ethnicity, as Kathrin Stephen (2018) describes by noting that there are various ways of defining who counts as indigenous. In addition to Indigenous cultures, there are also other cultural minorities with heritage, traditions, and cultural identities. As Chartier (2017) stresses, the Arctic is a multi-ethnic/cultural/lingual place.

Besides material and social relations, indigenous cultures of the Arctic carry spiritual and religious dimensions and values to nature (Helander-Renval, 2009) which are often reflected and represented in traditional arts, crafts and other form of cultural heritage. This calls for a certain cultural sensitivity in approaching AAD activities. Commercial design productions and items used to represent identities (such as clothing) cause emotional discussion on cultural appropriation and exploitation, if implemented outside of Indigenous community or by non-indigenous people. Visual symbols such as patterns and ornaments have significance in the continuation of cultures and even the sharing of world views (Joy, 2019; Kramvig & Flemmen, 2019; Minnakhmetova, Usenyuk-Kravchuk, & Konkova, 2019; Schilar & Keskitalo, 2018). Thus, seeing indigenous culture traditions as an economic resource cause alerting tensions and conflicts (see also Olsen et al., forthcoming; Smith, 1999). However, if members of indigenous peoples themselves are participating in the transformation of tradition into contemporary and economic products and services, then there is no, or very little, criticism.

According to cultural sustainability researchers Joost Dessein, Katriina Soini, Graham Fairclough and Lummina Horlings (2015), place-conscious education contributes to sustainability by strengthening connections between people and the worlds they inhabit. These educational methods can also initiate discussions of communities' hopes and trust for the future and they are beneficial for policymaking when engaging people in fostering sustainability and making visions for alternative ways of facing environmental, societal and cultural changes (Dessein, Soini, Fairclough & Horlings, 2015). Some art and design educators use implementations of place-based education (Greenwood 2008; Jokela 2013) to increase the understanding of place as an educational tool for sustainability and revitalisation of regional identity.

Revitalisation as innovation

Besides place-making and decolonisation, revitalisation has become a key process that aims to restore the values of traditions in the contemporary socio-cultural context. As a concept, revitalisation includes elements of both tradition and innovation, Auclair and Fairclough (2015) described revitalisation as a practice that renews and remakes cultural traditions that are part of the social construction.

Revitalisation does not mean returning to historical culture and identity that would be authentic or unmixed (Huhmarniemi & Jokela, 2020). Revitalisation is always based on an interpretation of history that changes according to our sources of historical knowledge, as well as personal and communal perceptions, judgements and values. According Huhmarniemi and Jokela (2020) the needs identified for decolonisation and revitalisation show that similar processes should also be implemented in AAD activities in multi-ethnic communities and non-indigenous communities. Revitalisation by means of AAD does not refer only to cultural practices but also to places, villages and whole regions based on their local and regional originality and potential vitality.

Among ASAD members, revitalisation is used as an approach to achieve cultural sustainability. Its power is in the creation of cultural continuation, intergenerational knowledge, the reconstruction of traditional skills and support for local cultural identities (Huhmarniemi & Jokela, 2020). Revitalisations can be also intercultural, with the aim of welcoming new community members or sharing cultural practises as enlargement of kin. Symbols, rituals and crafting methods can be studied as part of contemporary creation and new meanings can be given and associated with them. Political contemporary art shows one way of having inspiration from the past with valid participation to contemporary interests and value production (see eg. Guttorm, 2015; Horsberg Hansen, 2016; Igloliorte 2019). AAD also covers agency of renewing traditions in contemporary art (Jokela, 2013, 2017; Härkönen, Huhmarniemi & Jokela, 2018; Stöckell, 2018), as well as in socially engage art and community-based art education (Hiltunen 2009; Hiltunen & Zemtsova, 2014; Gårdvik, Stoll & Sörmo, 2014) and in growing field of creative tourism (Kugapi, Miettinen & Laivamaa, Forthcoming).

Merging traditions and innovation: towards renewable creative economies in the Arctic

Studies among ASAD partners have shown that there are various opportunities in remote and peripheral areas for innovative applications of AAD that respect tradition and sustain ecosystems (Jokela et al. forthcoming). We agree with Petrov (2014) and Vodden, Gibson and Baldacchino (2015) in arguing that innovation in the creative economy is not restricted to cities and innovation hubs only, but there are certain challenges in the Arctic. According to studies, the Arctic needs to generate more human capital by investing in its people to keep them in the region (Karsdottir et. al., 2015, 2017; Petrov, 2016). The advent of what is often referred to as the “knowledge economy” necessitates the enhancement of human skills and creativity, which will be key to the next stage of the development process towards AAD as a creative renewable methodology (Jokela et al., Forthcoming). This calls for novel models for educating artists and designers for the Arctic. Artists with traditional artistic training may lack the will and skills to work as entrepreneurs and producers of services (Huhmarniemi & Jokela 2019; Kugapi, Huhmarniemi & Laivamaa, forthcoming) and they may not have enough specific knowledge about the Arctic to apply their skills to particular northern circumstances.

The material heritage of the Arctic is often connected to handicraft and the skilful use of natural materials. Anyhow, primary industries exploiting natural resources have traditionally been the foundation of the Nordic Arctic economy. In many communities the expectation of economic growth is still laid on industries such as mining. According Olsen et al (2016), Karlsdottir et al. (2017) and Nordic Council of Ministers (2018) this is changing now and recent studies show that the Arctic areas hold several economic opportunities especially for young people in less traditional industries. Sustainable natural resource extraction forms the basis for more recent business opportunities, like the bio-economy and more knowledge-intensive activities such as research, development and innovation. Growing industries such as responsible tourism and creative industries, also show promise – for example cultural events, locally produced food, international media and film productions, and craft-based design and services.

According to Karlsdottir et al. (2017), there is already evidence of the positive impact of education to the regional development and well-being. Access to vocational and higher education opportunities, as well

as lifelong learning, is fundamental for local capacities, empowerment and human resources and for the competitiveness of companies in the Arctic regions. The growing University towns of Rovaniemi in Finland and Tromsø in Norway are examples of locations where the population is increasing and that does not happen through traditional industries alone. This is largely thanks to several educational institutions which attract young people from the region but also outside and even from abroad. These cities are very international which also support creative synergy. Based on long term involvement in higher education we believe that education for sustainability in the art and design field will play an important role in the future of the North and the Arctic.

Conclusion

The potential for creative and sustainable development that might be drawn from the seemingly opposite notions of innovation and tradition has been at the core of this short article. In addition, we have sought to share our experience of research and praxis at the nexus of art, design and education which we believe offers possibilities that we have only just begun to tap into.

As drivers of the Arctic future, art and design higher education institutions and universities should lay the groundwork for the formation of multidisciplinary and interprofessional creative collaboration. The ASAD network is aiming to do just that. Art and design innovations must be implemented through culturally sensitive and place-based strategies to respond to the challenges and ensure sustainability in the North and the Arctic. Higher art and design education has an important role to secure creative human capacity and promotion of sustainable future in Arctic.

References

- AHDR, (2015). Arctic Human Development Report. Regional Processes and Global Linkages. Tema Nord 2014:567. <http://dx.doi.org/10.6027/TN2014-567>
- ASAD. (2019). Arctic sustainable Arts and Design Thematic Network. Retrieved from <http://www.asadnetwork.org/>
- Auclair, E., & Fairclough, G. (2015). Living between past and future. An introduction to heritage and cultural sustainability. In E. Auclair, & G. Fairclough (Eds.), *Theory and practice in heritage and sustainability. Between past and future* (pp. 1–22). Oxon, UK: Routledge.

Beaulé, C.I.; De Coninck, P. (2018). The concept of “Nordicity”: Opportunities for design fields. In *Relate North: Practising Place, Heritage, Art & Design for Creative Communities*; Jokela, T., Coutts G., Eds.; Lapland University Press: Rovaniemi, Finland. pp. 12–34, URN:ISBN:978-952-310-928-5.

Chartier, D. (2017). *What is the «Imagined North»? Ethical principles*. Quebec, Kanada: Presses de l'universite du Quebec.

Daniels, J., Baldacchino, G. & Vodden, R. (2015). Matters of place: The making of place and identity. In K. Vodden, R. Gibson, & G. Baldacchino (Eds.), *Place peripheral: place-based development in rural, island, and remote regions* (pp. 23–40). St. John's, Newfoundland: ISER Books.

Dessein, J., Soini, K., Fairclough, G., & Horlings, L. (Eds.). (2015). *Culture in, for and as sustainable development. Conclusions from the COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability*. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.

Clarke, P. (2012). *Education for sustainability: Becoming naturally smart*. Routledge.

Greenwood, D.A. (2008) A Critical pedagogy of place: From gridlock to parallax. *Environ. Educ. Res.* 2008, 14, 336–348, doi:10.1080/13504620802190743.

Guttorm, G. (2014). Sami duodji methodologies. In G. Gunvor, & S. Somby (Eds.), *Duodji 2012. International Conference on Duodji and Indigenous Craft and Design* (pp. 51–68). Kautokeino, Norway: Sami University College.

Guttorm, G. (2015). Contemporary Duodji – a personal experience in understanding traditions. In T. Jokela & G. Coutts (Eds.), *Relate North. Art, heritage & identity* (pp. 60–76). Rovaniemi, Finland: Lapland University Press.

Gårdvik, M., Stoll, K., & Sörmo, W. (2014). Birch Bark – Sustainable material in an authentic outdoor classroom. In T. Jokela & G. Coutts (Eds.), *Relate North 2014 Engagement, art and representation* (pp. 146–168). Rovaniemi: Lapland University Press.

Helander-Renval, E (2009). Animism, Personhood and the Nature of Reality: Sami Perspectives. *Polar Record* 46 (1). DOI: 10.1017/S0032247409990040

Hiltunen, M. (2009). *Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä* [Community-based art education. Performativity in the northern socio-cultural environment.] (Doctoral thesis). Rovaniemi, Finland: University of Lapland.

Hiltunen, M, Mikkonen, & E., Laitinen, M. (in Print? 2020.) Metamorphosis: Co-creation of knowledge in interdisciplinary art-based action research addressing immigration and social integration in Northern Finland. In G. Coutts G. & T., Eca (Eds) *Learning through art: International Perspectives*. Viseu, Portugal: InSEA Publications. DOI: (unpublished; manuscript in print)

Hiltunen, M. & Zemtsova, I. (2014). Northern places: Tracking the Finno-Ugric traces through place-specific art. In *Relate North 2014: Engagement, Art and Representation*; Jokela, T., Coutts, G., Eds.; Lapland University Press: Rovaniemi, Finland, 2014; pp. 60–81, urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-968-1.

Horsberg Hansen, H. (2016). Constructing Sami national heritage: encounters between tradition and modernity in Sami art. *Konsthistorisk tidskrift/ Journal of Art History*, 85(3), 240–255. <https://doi.org/10.1080/00233609.2016.1207701>

Huhmarniemi, M. (2019). Making Art in the Land of Ice Bears and Lemmings: Art and Science Expeditions in the Arctic. In T. Hautala-Hirvioja, Y. Holt & M. Mäkilä (eds.), *North as a Meaning in Design and Art* (pp. 182–194). Rovaniemi: Lapland University Press.

Huhmarniemi, M. & Jokela, T. (2020). Arctic Arts with Pride: Discourses on Arctic Arts,

Culture and Sustainability *Sustainability* 2020, 12, 604; doi:10.3390/su12020604

Huhmarniemi, M.; Kugapi, O.; Miettinen, S. & Laivamaa, L. (forthcoming) Sustainable Future for Creative Tourism in Lapland. In N. Duxbury; S. Albino & C. Pato Carvalho (eds.), *Creative Tourism: Activating Cultural Resources and Engaging Creative Travellers*. London: Cabi International.

Härkönen, E., Huhmarniemi, M., & Jokela, T. (2018). Crafting sustainability: Handcraft in contemporary art and cultural sustainability in the Finnish Lapland. *Sustainability*, 10(6), 1907. <https://doi.org/10.3390/su10061907>

Härkönen, E. & Vuontisjärvi, H. (2018). Arctic art & design education and cultural sustainability in Finnish Lapland. In T. Jokela & G. Coutts (Eds.), *Relate North: Practising place, heritage, art & design for creative communities* (pp. 86–105). Rovaniemi, Finland: Lapland University Press.

Härkönen, E., & Stöckell, A. (2019). Cultural Sustainability in Art-Based Interdisciplinary Dialogue. *International Journal of Art & Design Education*, 38(3), 639–648.

Igloliorte, H. Hooked forever on primitive peoples': James Houston and the transformation of 'Eskimo handicrafts' to Inuit art. In *Mapping Modernisms: Art, Indigeneity, Colonialism*; Harney, E., Phillips, R., Eds.; Duke University Press: Durham, UK, 2019; pp. 62–90.

Jickling, R. & Sterling, S. eds. (2017). *Post-Sustainability and Environmental Education: Remaking Education for the Future*. Palgrave MacMillan, Ontario, Canada.

Jokela, T. (2013). Engaged art in the North: aims, methods, contexts. In T. Jokela, G. Coutts, M. Huhmarniemi, & E. Härkönen (Eds.), *Cool: Applied visual arts in the North* (pp. 10–21). Rovaniemi, Finland: University of Lapland.

Jokela, T. (2014). Snow and ice design innovation in Lapland. In E. Härkönen, T. Jokela, & A.-J. Yliharju (Eds.), *Snow design in Lapland – Initiating cooperation* (pp. 180–181). Rovaniemi, Finland: University of Lapland.

Jokela, T. (2017) Art, design, and craft interwoven with the North and the Arctic. In M. Huhmarniemi, M., A. Jónsdóttir, , G. Guttorm, H. Hauen, H., (Eds) *Interwoven*; (pp. 4–11). Rovaniemi: University of Lapland.

Jokela, T. 2019. Arts-based action research in the north. In *Oxford Research Encyclopedia of Education*. Oxford University Press.

Jokela, T.; Coutts, G.; Beer, R. Din, H.; Usenyuk-Kravchuk, S. & Huhmarniemi, M. (Forthcoming) The Potential of Art and Design to Renewable Economies. In D. Natcher and T. Koivurova (eds.), *Renewable Economies in the Arctic. A State of Knowledge publication*.

Jokela, T. & Coutts, G. (2018) The North and the Arctic: A Laboratory of Art and Design Education for Sustainability. In Jokela, T. & Coutts, G. (Eds), *Relate North: Art and Design Education for Sustainability* (pp. 98-117). Rovaniemi, Finland: Lapland University Press.

Jokela T., Huhmarniemi, M. and Hautala-Hirvioja, T. (2019). Preface. *Synnyt 1/2019 special issue on Arctic Arts Summit*, 6–12, Retrieved 4th of January 2020 from: <https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=151504259>

Jónsdóttir, Á. B. (2017). Artistic Actions for Sustainability: Potential of Art in Education for Sustainability. *Acta electronica Universitatis Lapponiensis*. Doctoral thesis. Rovaniemi: University of Lapland.

Joy, F. (2019). Sámi cultural heritage and tourism in Finland. In Tennberg, M., Lempinen, H. & Pirnes, S. (eds.), *Resources, Social and Cultural Sustainable in the Arctic* (pp. 144–162). New York: Routledge.

Karlsdóttir, A., & Jungsberg, L. (Eds.). (2015). *Nordic arctic youth future perspectives*. Stockholm, Sweden: Nordregio. Retrieved from urn:nbn:se:norden:org:diva-4950

Karlsdottir, A., Olsen, L. Harbo, L., Jungsberg L., & Rasmussen, O. (2017). Future regional development policy for the Nordic Arctic: Foresight Analysis 2013–2016. *Nordregio report*, 2017:1. Stocholm, Sweden: Nordregio.

Kramvig, B., and Flemmen. A.,B. (2019). Turbulent Indigenous Objects: Controversies Around Cultural Appropriation and Recognition of Difference. *Journal of Material Culture* 24, no. 1: 64–82. DOI: 10.1177/1359183518782719

Kugapi, O., Huhmarniemi, M. & Laivamaa, L. (Forthcoming). A Potential Treasure for Tourism – Crafts as employment and a cultural experience service in the Nordic North. *Tourism Employment in Nordic Countries*.

Kuokkanen, R. (2000). Towards an indigenous paradigm from a Sami perspective. *The Canadian Journal of Native Studies*, 20(2), 411–436.

Macdonald, A. & Jonsdottir, A. (2014). Participatory virtues in art education for sustainability. In T. Jokela & G. Coutts (Eds.), *Relate North 2014: Engagement, art and representation* (pp. 82–103). Rovaniemi, Finland: Lapland University Press.

Minnakhmetova, R.; Usenyuk-Kravchuk, S. & Konkova, Y. (2019). A Context-Sensitive Approach to the Use of Traditional Ornament in Contemporary Design Practice. *Synnyt/origins, Special issue on Arctic Arts Summit* 1: 49–62. Retrieved 15 December, 2019, from <https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=151504259>

Nordic Council of Ministers. (2011). Megatrends. *TemaNord*, 2011:527. Retrieved from <http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702166/FULLTEXT01.pdf>

Nordic Councils of Ministers. (2018). Arctic business analysis. Creative and cultural industries. <http://dx.doi.org/10.6027/ANP2018-708>

Olsen, L., Berlina, A., Jungsberg, L., Mikkola, N., Johanna Roto J., Rasmussen, R., & Karlsdottir A. (2016). Sustainable business development in the Nordic Arctic. *Nordregio working paper*, 2016:1. Stockholm, Sweden: Nordregio.

Petrov, A., N., (2014) "Creative Arctic: towards measuring Arctic's creative capital" in L. Heininen; H. Exner-Pirot & J. Plouffe (eds.), *Arctic yearbook 2014: human capital in the north* (pp. 149–166). Akureyri: Northern Research Forum..

Petrov, A., N. (2016) Exploring the Arctic's "other economies": knowledge, creativity and the new frontier, *The Polar Journal*, 6:1, 51–68, DOI: 10.1080/2154896X.2016.1171007

Schilar, H.; Keskitalo, E.C. Ethnic boundaries and boundary-making in handicrafts: Examples from northern Norway, Sweden and Finland. *Acta Borealia* 2018, 35, 29–48, doi:10.1080/08003831.2018.1456073.

Smith, L. T. (1999). *Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples*. London, UK: Zed Books.

Stephen, K. (2018). Societal impacts of a rapidly changing Arctic. *Current Climate Change Reports*, 4, 223–237. doi:10.1007/s40641-018-0106-1

Stöckell, A. (2018) Making wooden spoons around the campfire: Dialogue, handcraft-based art and sustainability. In *Relate North: Art & Design for Education and Sustainability* (pp. 80–97); Jokela T., Coutts, G., Eds.; Lapland University Press: Rovaniemi, Finland, , urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-928-5.

Tennberg, M.; Lempinen, H. & Pirnes, S. (2019). The resourceful North Divergent imaginaries from the European Arctic. In Tennberg, M., Lempinen, H. & Pirnes, S. (eds.), *Resources, Social and Cultural Sustainabilities in the Arctic* (pp. 175–181). New York: Routledge.

University of the Arctic. (2019). University of Arctic Thematic Networks. <http://www.uarctic.org/organization/thematic-networks/>

Vodden, K., Gibson, R. & Baldacchino, G. (2015). (Eds.). *Place peripheral: place-based development in rural, island, and remote regions*. St. John's, Newfoundland: ISER Books.

Melanie Sarantou

University of Lapland, Rovaniemi, Finland

'My Piece of Heaven': Explorations of Resources in Arts-Based Research and Making Environments

The article discusses improvisatory processes through the recognition and actuation of affordances within specific environments and situations. The synergistic relationships between resourcefulness and improvisation, and people's interactions within their given environments, will be addressed through two arts-based activities that were conducted with a student community in Arctic Murmansk, Russia, as part of the Margin to Margin project. The article will discuss and analyse the role that affordances play in intricate, familiar and unfamiliar environments, especially those that are associated with making, the arts and improvisation. The arts-based activities drew from varied art-based methods and narrative approaches to data collection and analysis, such as storytelling, textile arts practices and making, narrative analysis, self-reflection and diarising. The outcome of the article explores the dynamic role of improvisation to address challenges by recognising and actuation affordances within the environments in which art and design makers, but also researchers, work and function.

Keywords: Arts-based research, textile arts, narrative, improvisation, resources, environment.

Мелани Сарантоу

Лапландский Университет, Рованиemi, Финляндия

«Мой кусочек рая»: исследование ресурсов в искусствоведческих исследованиях и создании окружающей среды

В статье обсуждаются процессы импровизации через признание и активацию доступных возможностей в конкретных условиях и ситуациях. Синергетические отношения между находчивостью и импровизацией, а также взаимодействия людей в их конкретной окружающей среде будут рассматриваться на примере двух художественных мероприятий, которые были проведены со студенческим сообществом в Арктическом Мурманске, России, в рамках проекта «Край к краю». В статье рассмотрена и про-

анализирована роль, которую доступные возможности играют в запутанной, знакомой и незнакомой окружающей среде, особенно такие, которые связаны с созданием – искусство и импровизация. Деятельность, основанная на искусстве, опиралась на различные художественные методы и нарративные подходы к сбору данных и анализу, такие как повествование, художественные практики и производство текстиля, нарративный анализ, саморефлексия и ведение дневников. Конечным результатом статьи является изучение динамической роли импровизации в решении насущных проблем с помощью признания и активизации возможностей в среде, в которой дизайнеры и художники, но также и исследователи, работают и функционируют.

Ключевые слова: искусствоведческое исследование, текстильное искусство, повествование, импровизация, ресурсы, окружающая среда.

Introduction

This article explores the role of improvisation when dealing with challenges and difficulties in arts- based research contexts. By proposing improvisation as a strategy, the article seeks to understand how challenges, both in research and creative contexts, can be overcome. This article draws on a specific project context. *Margin to Margin: Women living on the edges of the world* (2016–201) was an art and research project that took place between four geographical margins: regional South Australia, Finnish Lapland, Russian Kola Peninsula and Namibia. The project, through arts-based and ethnographic research, engaged in various contexts, such as Indigenous arts practice, socially engaged arts, and geographical remoteness. As an arts and research collaboration between artist communities, the project's goal was to explore the relationship between art-making and empowerment of artefact makers living and working 'on the edges'.

The research viewed the concept of marginality predominantly from the position of geographical isolation, thus this unique cross-continental collaboration explored and presented the making processes of artists who were facing challenges of isolation and remoteness. The *Margin to Margin* project aimed to give voice and visibility to peripheral artists and their communities, on their terms, through workshops, exhibitions, documentary video, blogs and social media platforms. By design, the project adopted a bottom-up approach to encourage, within the participating communities, agency and ownership. The project sought to empower participating communities by enabling them to design the

interventions with the artist-researchers. This means that suggestions of project ideas were discussed amongst the participating groups and artist-researchers, and then implemented by the communities to suit their needs according to their contexts. However, there are limits to what can be planned prior to entering the field, so some challenges were experienced in the activities.

Physical and digital participation was encouraged by the artist-researchers who sought and created opportunities for representing the artworks produced by the communities in meaningful ways (Sarantou, Akimenko & Escudeiro 2018). However, one of the major challenges the project dealt with throughout, was the use of digital tools to manage the *Margin to Margin* project over the three continents. Multiple digital and social media platforms were used and developed to stimulate connectedness and communication, such as a website and blogs, to share research and art outcomes for the benefit of the research participants and artist-researchers alike. Although at least some of these digital sharing activities were included in the project design, their specific formats resulted from feedback and ideas received from the participating communities. Initially, communication with the communities was conducted mostly via email and where possible, face to face. At the end of the project, and mostly due to the interest of communities to grow the connections between continents, many participants and the artist-researchers expanded their communication strategy to include social media, blogs and text message applications, such as Messenger and WhatsApp.

The ongoing collaboration with the communities remained flexible and open to change as the artist-researchers had to feel their way through the participants' needs, ethical considerations and changing project environments. The artist-researchers used digital approaches for virtual meetings and day to day communication. All virtual and face to face research meetings were digitally recorded as these discussions served as data that was utilised for ideas generation, project and research planning, analysis and reflection. Apart from digital strategies, this article will explore the varied ways the participating communities engaged in to connect and express their storied identities.

During the *Margin to Margin* project the artist-researchers twice engaged with a student community from the Murmansk State University. Two arts-based and storytelling interventions came about in December

2016, and one year later in December 2017. The results from the two interventions, which will be central to this article, were exhibited widely in Rovaniemi, Espoo and Streaky Bay. The first exhibition, titled '*Narrating the Marginal*', was displayed at the *Katve 1* and *Katve 2* galleries at *Arktikum* (December 2016 – January 2017). The second, '*Naisia Maailman Laidalla*' (Women from the edges of the World), was exhibited at the *Helinä Rautavaara Museo* in Espoo, Helsinki (August – October 2017). The third exhibition, '*My Piece of Heaven*', was displayed at the *Hämärä* gallery at the University of Lapland (January 2018). The fourth exhibition, titled *Voices*, was located at the gallery of the Port Augusta Cultural Centre – Yarta Purtli in regional South Australia (February – March 2018). The last exhibition, '*Margin to Margin: Artists from the Edges of the World*' was shown in Streaky Bay of regional South Australia as part of the *Visible* arts festival (December 2018 – January 2019). In both interventions the Murmansk community was invited to participate with the communities in Rovaniemi, South Australia and Namibia to produce collaborative textile installations. During the first exhibition, many of the students also contributed individual art works.

This key objective of the article is to explore the synergistic relationships between resourcefulness and improvisation in artistic interventions. The article further proposes that the ability to identify, explore and actuate affordances within any given environment can contribute to learning, resilience and solution-oriented behaviours. The article asks: 'What were the resources that the students, project mediators and artist-researchers drew on to overcome the challenges they faced during the arts-based and research activities?', and 'How can researchers draw on the affordances within their research environments to overcome the challenges they face in arts-based research settings?'

The article is ordered by first explaining the methodological choices that it draws on. Thereafter a theoretical framework is set out, followed by a discussion about the two arts-based interventions. Finally, the findings are discussed and presented in a framework for how researchers can draw on the affordances within their research environments to learn and tackle day to day challenges.

1. Methodological outline

The research was approached by locating people (participants, communities, artists, makers, researchers) central to the research

process. Arts-based research (ABR) was the overarching research strategy adopted in the two arts-based interventions. It may appear irrelevant to apply arts-based research in artistic contexts, but the strength of the ABR approach lies in problem centeredness, and that it seeks to know 'differently' about the phenomenon under question in addition to its potential to create trust and rapport amongst communities, participants and researchers alike (Leavy 2017, p. 237-241). ABR methods cultivate empathy and self-reflection through the disruption of dominant narratives by utilising making, performance and storytelling (Leavy 2017). However, this means an increase in challenges as processes are not simplified, but rather multi-layered to encourage participation.

During the interventions, arts-based research methods assisted the negotiation of challenges through improvisation that often sustains 'self-organisation' (Fletcher 2008, p. 71). This term refers to effectiveness which is not guided or managed by an outside source, but from within a person or group, thus driving sustainability. In the interventions, but also the *Margin to Margin* project, 'self-organisation' was embraced as a practical bottom-up approach that aimed to empower the research participants. This approach relied on improvisation as a practical strategy as it incorporated pluralities and diversity, whilst drawing on broad ranges of ideas and engagement (Fletcher 2008). Research and project design are essential elements for successfully mediating projects in any research field, thus the selected analytical approach, which is an essential choice in research design, was based on the documented experiences of, and reflections by, the author.

2. Conceptual framework.

The article investigates the role of improvisation in research and creative processes. It is structured around a discussion of key theoretical but relevant concepts that relate to the relationship between art, design and improvisation, improvisation as a dynamic approach for addressing challenges, and improvisation and learning within a given environment.

Art, design and improvisation. Improvisation is an 'aspect of the broader human condition' in which creative and solution-oriented processes (Lewis & Piekut 2016, p. 2, 20), that are constituted of thinking and feeling, action and making. Within intricate environments, makers connect or disconnect steps and moments to generate agile response

to triggers within given environments. In art or design processes, improvisation could be seen as a conversation of the maker with an environment and the materials within. Improvisation has linked to wayfaring, knowing as you go (Ingold 2004), but it is also associated with the arts as it can generate new and unique outcomes in making that is solution-oriented (Lewis & Piekut 2016, p. 4). Improvisation is also strongly associated with play (Nachmanovitch, 1990), cognitive creativity and research-led practices in creative arts (Dean & Bailes 2016, p. 40).

Gerber (2007) introduced improvisation as an approach for supporting design work, but it is a key ingredient in design processes, those crucial moments in which the improviser draws on intuitive action (Nachmanovitch 1999, p. 14), enabling connectivity and negotiating challenges (Sarantou & Miettinen 2017). Norman (2010) claims that good design mitigates challenges. Improvisation is not a chaotic process or a second-best response to a challenge as is commonly assumed, but a system of accurate design in which moments of experimentation are guided by past experiences to enable discrepancies that compensate for environmental challenges (Secchi 2012, p. 8). Improvisation is also a way of creating different patterns or routines (Secchi 2012). Past experiences can guide accurate design during improvisation (Lewis & Piekut 2016).

The connective role of improvisation in design processes was illustrated by Sarantou and Miettinen (2017) through Buchanan's (2015) four design 'moments': invention, judgement, connection and development, integration and evaluation (p. 15). In line with Secchi (2012), Sarantou and Miettinen (2017) argue that the role of improvisation in design processes is to connect and disconnect the four design thinking moments, thus enabling flexibility and variety despite challenges that may be experienced within any given environment. Associations and relations between art, design and improvisations are illustrated above, but often artificial divides are set up and distinctions made between these concepts, while the interconnections and synergies between such terms receive less attention.

Improvisation as a dynamic approach for addressing challenges.

Reinterpreted, the Sarantou and Miettinen (2017) improvisation framework highlights the resources improvisers draw on, including experience, skill, intuition, experimentalism, judgement, recognition of promisingness, time and thereness. Improvisation is underpinned by risk taking during

experimentation, and overcoming uncertainties (Sarantou 2018; Montuori 2003). Thus, the resource of experimentalism enables invention, exploring unfinalised and untried techniques and ideas (Montuori 2003). Judgement is a resource for making informed decisions and a crucial step to determine desirability, feasibility and viability of an outcome (Buchanan 2015). Recognition is a resource for identifying affordances within an environment. 'Affordances are relationships', which refers to the actionable properties between individuals and their environments (Norman 1999, p. 39). Affordances thus are relationships between resources and the environment that guide improvisers to recognise promisingness (Chen et al. 2012). Improvisation is accepting and transforming what is immediately available (Leonard & Yorton 2012), while promisingness is solution-oriented. In actuating affordances for solutions to challenges, these resources shape lived experiences in work and life processes.

Tord Gustavsen (1999) advocates for improvisers to intimately *feel* the connections between separate details in processes and environments (p. 15). Jencks and Silver (2013) refer to the term 'ad hocism', urging a divorce from rule books to instead focus on lived experiences and how things are actually done, thereby overcoming challenges through adjustment and readjustment. Improvisers are resourceful as they carefully use resources in ingenious ways. Thus, improvisation should be utilised as a dynamic tool for guiding participation and co-creation through engagement in sensitive contexts. The literature explains the complex relationship and synergism between improvisation, resources and environments.

In overcoming challenges, solution-oriented making often entails a need for multidirectionality to deal with unforeseen elements and uncertainty in different environments (Montuori 2003, p. 240). Not everything goes as planned and agility is needed to cope. An improvisator needs to overcome fears of failure (ibid.). Improvisation is about minimising the dread as the unfamiliarity becomes familiar (Peters 2009). Summarised in an earlier statement by Montuori (2003), the key role of improvisation lies in coping with the lived experiences that are presented by overcoming challenges. It is as if navigation though the unknown creates new realities (Leonard & Yorton 2015).

Improvisation, learning and the role of a given environment.
Improvisation is linked to concepts of self-organisation, uncertainty and

adaptation (Lewis & Piekut 2016, p. 25). It is about finding solutions (Leonard & Yorton 2015) and managing to use what is available (Sarantou 2018). The new experiences produce learning, next to learning new knowledge on how to work with the resources that are available (ibid.). Nimkulrat, Niedderer and Evans (2015) state that many designers rely on tacit knowledge that can be gained through experience. Though improvisation, practitioners are 'willing to break with the continuity of the old and new' (Peters 2009, p. 118). The ability to continuously create new order out of challenging situations, or continuous co-evolution, ensures sustainability and facilitates learning (Mitleton-Kelly 2011). In turn, self-organisation drives sustainability and emerges as a result of ongoing learning and the negotiation of challenges. Here, improvisation plays a key role as it sustains 'self-organisation' (Fletcher 2008, p. 71).

The environment plays an important role in any improvisatory process (Sarantou, Akimenko & Escudeiro 2018). Environments can thus stimulate the shaping of new experiences through improvised processes when practitioners rely on their previous lived experiences to discover and learn (Sarantou et al. 2018, p. 1363). The learning, resources and new experiences go hand-in-hand in a holistic improvisation process (p. 1363). As the resources tell what is available and possible to do, it creates new experiences for the maker (p. 1363). Improvisers draw on experience and their acquired skills during improvisatory processes while they simultaneously gain these during the same processes (Sarantou & Miettinen 2017). They also draw on the primary resource of intuition, which are emotional experiences and automatic emotional judgements (Dunn et al. 2010, p. 1838). This resource is a cognitive process that happens intuitively and outside of consciousness in interplays of knowing and sensing (Sadler-Smith & Shefy 2004). Through improvisation it is possible to responds to stimuli within an individual's environment, as to improvise is to read the affordances of the environment by exploring both the constraints *and* possibilities created by new conditions in a given environment (Montuori 2003, p. 240; Peters 2009).

3. Two art making activities in Murmansk

In the following discussion, concrete examples will illustrate how solutions to challenges were improvised by actuating affordances in the given environment of the two arts-based interventions in Arctic Murmansk that came about at the Murmansk State University. The

intervention titled 'Повести о Пределах' (a Russian analogy to the title 'Narrating the Marginal') was hosted by the Art and Service Department of Murmansk Arctic State University (MASU) with a group of fourteen students and graduates of the department during December 2016. During the first days of the intervention the participants expressed their life stories through textile art, painting with acrylics and storytelling. During the second artist intervention the artist-researchers were not present as the activity was solely mediated virtually across the three continents of Australia, Africa and Europe.

In each of the locations the artists were given free reign to express, via textile arts and storytelling, their notions of happiness. The results from the first intervention brought forth various arts installations and the arts-based research method 'Life Story Mandala' that was widely published (Miettinen, Sarantou & Akimenko 2016; Sarantou et al. 2018; Miettinen, Sarantou & Kuure 2019). The results of the second intervention brought forth the arts installation titled 'My Piece of Heaven', which constituted of seven large collective and individual textile works of various dimensions, e.g. 1208 x 980 mm; 2005 x 2200 mm; 1895 x 1995 mm and so on). The textiles were often exhibited in a large rectangle or cube that was suspended in space. A sound installation accompanied the textile art, which was jointly produced by sound artist Jari Rinne from the University of Lapland and the participants telling their stories and using sounds to express their feelings of happiness. The participants *and* artist-researchers participated in the arts-based activities and storytelling to enhance empathic relationships between them, which was exemplary of the approach of the *Margin to Margin* project.

In both interventions, cultural probes (Gaver, Dunne & Pacenti 1999) were used as stimuli in the given environments. The cultural probes were designed and developed through several iterations by artist-researcher Satu Miettinen, Dean of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland, and presented in different forms (Miettinen et al., 2019). The cultural probing kit of the first intervention consisted of circular-cut white linen and acrylic paints. The painted art works represented mandalas as the participants were asked to express or represent their life stories or cycles on the circular-cut textiles. After the mandalas were painted, the participants shared their stories that were embedded in the painted textiles. The artist-researchers participated in the first series of interventions that were hosted in all the participating artist communities

of the *Margin to Margin* project: Namibia, Finland, Russia and South Australia.



Figure 1: The Life Story Mandala installation that was created by the participating communities from Murmansk and South Australia. The smaller mandalas that form the 'nucleus' of the large mandala installation was created by the student community from MASU. This installation, which was displayed at the Dinner Room Gallery in Streaky Bay for the Visible Artist Festival, varied from the previous representations that were displayed in Rovaniemi and Espoo in Finland. Photography by the author.

The cultural probes of the second intervention, which was virtually mediated by the three artist-researchers in Russia, Namibia and Australia, consisted of written invitations to the participating communities. The words *'My Piece of Heaven'* was used as one element of the cultural probe. Through emails the participants were asked to create collaborative textiles of their choice, of approximately 2000 x 2000 mm. The participants were asked to express their notions of happiness by recording their stories or relevant sounds. Some interventions in the second intervention were partly supported by face-to-face interactions. For example, with students

from the University of Namibia (UNAM), Satu Miettinen participated in the intervention in Namibia, which was hosted at the Visual Arts Department of UNAM. In regional South Australia, the author of the article participated in the creation of the collaborative textile that was produced by the Fibrespace Incorporated artist collective, whilst she also assisted with the recording of the stories of the ArtsUp artist collective of Streaky Bay, who also contributed a work. Both Miettinen and the author participated in the textiles that were made by the group of Finnish artists from Rovaniemi. The third artist-researcher, Russian-born Daria Akimenko, collaborated virtually with the students from MASU to create their collaborative textile.

The varied stories that were recorded by the participants in all the locations, as well as the personal discussions that the author had with some of the participants in South Australia and Finland, presented good examples of the role that improvisation played in the making of their works. Many communities used the method of creating individual works that were then carefully and artfully sewn together to constitute the larger textile. Many artists enthusiastically shared their stories of making with the author, and strikingly many of them narrated varied approaches to wayfinding. For example, one participant from Streaky Bay wanted to show how the beach and the sea shape her feelings of happiness by applying re-used textiles in small sections to create the shape of a shell. She narrated how one action and decision led to the next, how she drew on her intuition and tacit knowledge of colour and textures, and went backwards and forwards to create the work.

Another participant from the Fibrespace Incorporated artist collective explained how she wanted to recreate the signs and sounds from her garden that was significant source for finding joy in her daily life. In her process she continued to discover new materials, for example candy wrappers that created particular sounds, or textiles of a particular texture, transparency or sheen that she was able to use to create a specific representation of her happy garden. The artist problem-solved according to her discoveries, findings or the triggers that she was able to find from her immediate and changing environment as she went along her daily tasks. She had a vague idea of what she wanted to express, but reported that she relied on 'aha' moments and improvisation to enable an action,

which often then paved the way for another discovery. Often, she had to undo steps to circumvent difficulties during making.

In terms of narrative sharing, the interventions in Russia presented some limitations to the artist-researchers who had to rely on their Russian-born colleague for translation and facilitation during the activities. Three MASU students communicated in English, although most students had a fair to good understanding of the language. As the project research methods were largely narrative- and story-based, it was crucial to generate understanding between all stakeholders. Interpretation was time consuming and required large amounts of energy and skill, apart from a sensitive approach by the interpreter to transmit meanings efficiently to generating understanding between the participants and artist-researchers. The formalities associated with working in the Russian academic context was exemplary of the challenges the translator had to deal with as it required sensitivity. Stemming from perhaps less formal backgrounds, the researchers had to navigate the institutional codes in order to create spaces for empathic sharing during the workshop.

The sound 'scape' created by Rinne entailed the overlapping of the storied sound within the exhibition spaces. This required focused and careful listening by the audiences to recognise narrations or sounds. With the mentioned linguistic and cross-cultural communication challenges in mind, the MASU students approached their *'My Piece of Heaven'* textile from a different perspective as storytelling in Russian may have meant that much of their notions of happiness may have not been understood. A striking connection between concepts such as hearing, listening, and perhaps the ability to communicate cross-culturally, may be embedded and represented by the *'My Piece of Heaven'* textile of the Russian students. The signs that resemble the shape of ears, or perhaps even inverted commas that are used to express direct speech in text, are presented in a large spiral that from a distance may also represent the shape of a larger ear. Thus, from the shapes that were used in the collaborative textile, one interpretation that the onlooker may take away from the collaborative art work can be connected to the ability to communicate despite the limitations that different languages present in cross cultural communication.



Figure 2: The collaborative textile installation 'My Piece of Heaven' by MASU (visible on the far left of the first image) was created from individually-made 'ear-shaped' sections that were stitched together. The image represents the exhibition that was hosted in Hämärä in Rovaniemi. The image on the right shows the details of the collaborative textile by MASU students. Image left: Photography by Satu Miettinen. Image right: Photography by the author.

The above interpretation is supported by the sound art that the students documented and that was carefully created in a sound scape by the sound artist. The sound art was strikingly different from the participant stories from Namibia, South Australia and Finland, that were mostly expressed in English and Finnish. The sound art from the MASU students was based on delicate sounds, such as a teaspoon that makes soft 'cling-clung' sounds in a tea cup, the irregular ringing of a bell that may remind the listener of the comforts of having a house pet, for example a cat nearby, bird song from a breezy garden, or soft footsteps through corridors or snow. The MASU students did not rely on spoken words to bring across their ideas, or sounds, that constitute their moments of happiness.

Another striking difference between the 'My Piece of Heaven' from MASU was that the work was not constituted by different 'stories' of the participants and then collated as a whole, but it was one large composition

that was carefully sewn together, perhaps to present layered meanings or trigger multiple and differentiated interpretations. Overlapping techniques and a spiral, representing continuity, was used, perhaps to illustrate the endurance of the stories and values the participants sought to bring across through their sound stories, which essentially will be interpreted in varied ways by the audiences.



Figure 3: The two textiles from the ArtsUp artist collective from Streaky Bay and MASU students from Murmansk (right), displayed at the Dinner Room gallery of Streaky Bay in South Australia. Photography by the author.

The author's personal reflections on, and interpretation of the work contributes to the understanding that arts-based methods may bring about in research environments where cross-cultural expression and interpretation may hamper meaningful data to be captured, thus also the transferral of knowledge is equally hampered. The *'My piece of Heaven'* presents an example of how such arts-based methods can be used to negotiate challenging research environments by presenting, as Patricia Leavy (2017) explains, opportunities for knowing differently. At the same time, this intervention serves as an example how knowing differently is not only based on textual, visual or and sign language, but also the knowledge that comes forth from engaging all the senses. The multi-

layeredness of the knowledge that can be presented, expressed through multi-sensual arts-based methods is further exemplified. Finally, the '*My Piece of Heaven*' from MASU is a quite holistic representation of, and a symbol for how to find alternative research approaches and methods that can enable the visibility and audibility of the researched communities – through hearing and listening.

4. Key findings

The resources that the students, project mediators and artist-researchers drew from in their immediate environments to overcome the challenges they faced during the arts-based and research activities, can be summarised as the following elements: a) narrative and cultural sharing, b) listening and learning, c) harnessing improvisation as a strategy, d) mediation, and e) place and temporal dimensions.

Narrative and cultural sharing. The artist-researchers improvised cultural sharing activities such as storytelling and sound performances and recordings. Arts-based approaches, such as storytelling and improvisation, actuated the participants' resources at hand. This means that the participants were able to draw on their local knowledge and experiences, intuition and insights into her own culture to navigate the context and build connections across borders and cultures. The bottom-up approach to the interventions enabled the communities to guide the art and cultural sharing processes. As a result, the artist-researchers often had to deal with challenges as they had to put aside their research agendas to focus on and centralise the activities proposed by the participants. Valuable personal connections started to shape while cultural sharing, observation and documentation occurred. The artist-researchers read the environment to be able to respond to the many creative ideas that developed.

Listening and learning. Listening is a skill that contributes a person's ability to learn and acquire knowledge. It requires a focus on the careful deciphering and interpretation of what was said and heard, which often does not generate the same outcome as messages or sounds are differently coded and decoded. Learning is the acquisition of skills or knowledge through experience, iteration, study or being taught (Sarantou, Sillgren & Pokela 2019). It is also the ability to "think, and question, and know how

to find answers” when needed (Grayling 2002, p. 158). An appreciation for the arts and ongoing education enable reflexivity, which means living more knowledgeably and having consideration and tolerance for the interests and needs of others (p. 158–159). Listening and learning in this article is argued to contribute to our ability to generate cross-cultural understanding.

Harnessing improvisation as a strategy. Improvisation enabled all workshop participants the needed flexibility to negotiate the flow of social, cultural and art making activities as they had to feel their way through the workshop. Improvisation was required on behalf of the artist-researchers for building connections with the participants through empathic art making activities. Participants had to draw on their intuition to respond to the cultural probes and according to the affordances within their given environments, and how events unfolded within their environment. Navigating not only language, but also cultural specificities were important. Despite the cultural sensitivity that the researchers displayed through their practice it was challenging to gain sufficient insight into the insider’s point of view, but through the use of arts-based methods and approaches such as improvisation and storytelling, nuanced expressions can enable equally nuanced interpretations that can enable knowledge sharing and learning.

Improvisation is essentially valuable in bottom-up research approaches to enable flexibility. The artist-researchers negotiated their changing research environments with a focus to accommodate participants’ needs, working within the research design parameters whilst considering the needed flexibility. Improvisation enabled the connection of elements, cycles and processes within this research design: it enabled research, process and project design on a practical level by considering researchers and the realities of their participating communities.

Mediation. The arts-based activities were mediated by the artist-researchers who felt their ways through the volatilities, and drawing on their previous interventions, mediation and research experiences. In terms of mediation, improvisation enabled the artist-researchers to draw on thereness (what was ‘there’, the immediate and often limited resources, including time that is often a moment outside of ‘real’ or measured time), working with basic art materials and techniques to transfer skills

and ideas to strengthen empathic relations between themselves and the participants. Through the resource of recognising thereness, the given, immediate 'natural', social and cultural environments, the artist-researchers drew on their knowledge and available materials to connect participants despite cultural, social and site-specific challenges. Intuitive actions guided the artist-researcher who used improvisation as a dynamic strategy in mediation.

The two arts-based interventions provided examples of the usefulness of improvisation as an approach to mediation as it can have a connective function in research environments. The arts-based methods selected in this project were conducive to improvisatory processes. Improvisation, which generates ideas, is plural, diverse, and *is* a solution-oriented approach that enables the navigation of stimuli within such to negotiate challenges. Offering a vivid playground for multidisciplinary and being essentially complex, creative, solution-oriented and guided by intuition, improvisation can be a dynamic approach for navigating challenges in mediation for arts-based research, art, design and craft practice.

Place and temporal dimensions. The temporal challenge inherent to all of the interventions persisted: while the time of engagement with the community was short and immediate, the topics and stories that emerged through the narrative processes included memories of the past entangled with moments in the present. The wide dissemination of the research and artistic outcomes over many months illustrate how temporal dimensions continued into the future. Additionally, the sound recordings and art were disseminated through a website of the *Voices* exhibition, which is still available online (<https://margintomargin.com/voices/>). In arts-based approaches and improvisation, time is often immeasurable, thus the time limitations for arts-based engagement challenged the stakeholders, prompting an economical approach to the use of this resource. However, strain was also experienced by the participants who juggled participation in the project, upcoming exams and the perpetual polar night period. At the same time places in the Arctic that were impacted by heavy snow storms, leaving roads in bad shape and buildings without power supply and cold, were elements that had to be managed and challenges to be overcome. The importance of places and spaces in the narrations of the recorded and stories emphasised the important role of place in

identity and art processes and expressions. The challenge, both temporal and climatic, impacted the artist-researchers who had to gauge their environment carefully in keeping with the sensitive approaches applied in the marginal communities. Practical implications meant that much time was invested in careful communication and translation, adopting flexible approaches to the institutional time tables, plans and agendas.

5. Conclusion

This article unpacked the synergistic relationship between improvisatory processes, environments and the resources that exist within them. The role of mobilising solutions to challenges via improvisatory processes through the recognition and actuation of affordances within environments is illustrated. The resources that research participants, mediators and researchers can use within their immediate environments to mitigate challenges encountered during (arts-based) research activities, were discussed. Challenges tend to inundate processes and systems with potential impasses that require innovative strategies and energy flows to overcome. It is only through recognising new relationships between available resources and challenges, which are situated within the specificities of environments, that improvisatory processes can offer new and multidirectional avenues to cope with challenges. Improvisation is an important strategy for mobilising solutions to challenges, but it also enables learning through wayfaring, discovery and knowing as one goes.

Arts-based approaches, including improvisation, intuition and flexibility, overcame the limitations whilst establishing connections between humans and communities by carefully building trust and creating empathy. Many of the multi-layered challenges discussed above were approached through improvisation, agility and flexibility. The connective role of improvisation in dealing with such challenges and uncertainty (Sarantou & Miettinen 2017), was illustrated through art-based research, art and design making. Wide dissemination through digital communication and exhibition were significant outcomes for the participating communities. The novelty of these approaches lies in the connections that were established between the participants, such as the student community in Murmansk, artist-researchers, and wider audiences.

References

1. Buchanan, R. (2015). Worlds in the making: Design, management, and the reform of organisational culture. *She Ji, The Journal of Design, Economics, and Innovation*, 1(Autumn), 5–21.
2. Chen, B., Scardamalia, M., Resendes, M., Chuy, M. and Bereiter, C. (2012). Students' intuitive understanding of promisingness and promisingness judgments to facilitate knowledge advancement. *The future of learning: Proceedings of the 10th international conference of the learning sciences*, 1, 111–118.
3. Dean, R.T. & Bailes, F. (2016). Cognitive Processes in Musical Improvisation. *The Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies*, 1, 39–58. Lewis, G., & Piekut, B. (Eds.). Oxford University Press.
4. Dunn, B. D., Galton, H. C., Morgan, R., Evans, D., Oliver, C., Meyer, M., ... & Dalgleish, T. (2010). Listening to your heart: How interoception shapes emotion experience and intuitive decision making. *Psychological science*, 21(12), 1835–1844.
5. Fletcher, K. (2008). *Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys*. Earthscan, London and Sterling.
6. Gaver, B., Dunne, T., & Pacenti, E. (1999). Design: Cultural probes. *Interactions*, 6(1), 21–29.
7. Gerber, E. (2007). Improvisation principles and techniques for design. In *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems*, 1069–1072. ACM.
8. Grayling, A. C. (2002). *The meaning of things: Applying philosophy to life*. London: Phoenix.
9. Gustavsen, T. (1999). The dialectical eroticism of improvisation. *Improvisation. Between technique and Spontaneity*, 7–51.
10. Ingold, T. and Hallam, E. (2007). 'Creativity and cultural improvisation'. Hallam & Ingold (Eds.), *Creativity and cultural improvisation*, pp. 1.24. Oxford and New York: Berg.
11. Jencks, C., & Silver, N. (2013). *Adhocism: the case for improvisation*. Mit Press.
12. Leavy, P. (2017). Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches.
13. Leonard, K., and Yorton, T. (2015). *Yes, And: How Improvisation Reverses «No, But» Thinking and Improves Creativity and Collaboration--Lessons from The Second City*. HarperCollins.
14. Lewis, G., & Piekut, B. (Eds.). (2016). Introduction: On Critical Improvisation Studies. *The Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies*, 1, 1–38. Oxford University Press.
15. Miettinen, S., Sarantou, M., & Kuure, E. (2019). Design for Care in the Peripheries: Arts-based research as an empowering process with communities. *Nordes*, (8).

16. Mitleton-Kelly, E. (2011). A challenge theory approach to sustainability: A longitudinal study in two London NHS hospitals. *The Learning Organization*, 18(1), 45–53.
17. Montuori, A. (2003). The challenge of improvisation and the improvisation of challenge: Social science, art and creativity. *Human Relations*, 56(2), 237–255.
18. Nimkulrat, N., Niedderer, K. & Evans M. A. (2015). 'On Understanding Expertise, Connoisseurship, and Experiential Knowledge in Professional Practice'. *Journal of Research Practice*, 11, (2), 5–15.
19. Nachmanovitch, S. (1990). *Free play: Improvisation in life and art*. New York: Penguin Putnam.
20. Norman, D. A. (1999). Affordance, conventions, and design. *Interactions*, 6(3), 38–43.
21. Norman, D. A. (2010). *Living with challenge*. MIT press.
22. Peters, G. (2009). *The Philosophy of Improvisation*. Chicago: The University of Chicago Press.
23. Sadler-Smith, E., & Shefy, E. (2004). The intuitive executive: Understanding and applying 'gut feel' in decision-making. *The Academy of Management Executive*, 18(4), 76–91).
24. Sarantou, M., Sillgren, S. & Pokela, L. (2019). In her Lap. Relate North: Collaborative Art, Design and Education. Jokela, T., & Coutts, G. (Eds.). Viseu, Portugal: InSEA Publications.
25. Sarantou, M.A. (2018). Fashion Design: The connective role of improvisation in new learning experiences. *Universal Journal of Educational Research*, 6 (6), 1358–1364. doi: 10.13189/ujer.2018.060627.
26. Sarantou, M., Akimenko, D., & Escudeiro, N. (2018). Margin to Margin: arts-based research for digital outreach to marginalised communities. *The Journal of Community Informatics*, 14(1), 139–159.
27. Sarantou, M.A. & Miettinen, S.A. (2017). 'The connective role of improvisation in dealing with uncertainty during invention and design processes'. *Conference proceedings Research Perspectives on Creative Intersections*, Design Management Academy, Hong Kong.
28. Secchi, E. 2012. 'Essays on Service Improvisation Competence: Empirical Evidence from the Hospitality Industry'. All Dissertations. Article 999.

Материалы, публикуемые в рамках
XIV Международной научной конференции
**«Семиозис и культура: человек, общество, культура
и процессы социальной трансформации»**
(6–7 декабря 2019 года)

УДК 316.776.3

DOI: 10.34130/2233-1277-2020-1-120-130

С. Н. Абдуллаев¹, Г. С. Абдуллаева²

¹ Иссык-Кульский государственный университет, г. Каракол,
Кыргызская Республика;

² Средняя школа № 5, г. Каракол, Кыргызская Республика

**Народные ассамблеи: моделирование устойчивого развития
полиэтнического общества¹**

Этнокультурное разнообразие является типичной чертой нашего времени. Полиэтничность служит релевантным фактором для устойчивого развития общества. Кросскультурные коммуникации играют позитивную роль в многонациональном обществе. Актуальной и малоисследованной задачей является их научное моделирование. Освещая в статье эту проблему, авторы придают большое значение феномену социальных ассоциаций по типу ассамблеи народов.

Ключевые слова: культура, ассамблея, моделирование, народ, межкультурная коммуникация, устойчивое развитие, полиэтнический.

© Абдуллаев С. Н., Абдуллаева Г. С., 2020

¹ Работа выполнена при поддержке гранта «Типология и динамика языковых процессов в тюрко-монгольском ареале».

S.N. Abdullaev¹, G. S. Abdullaeva²

¹ Issyk-Kul State University, Karakol, Kyrgyz Republic;

² Secondary school No. 5, Karakol, Kyrgyz Republic

People's Assemblies: Modeling the Sustainable Development of a Multi-Ethnic Society

Ethnocultural diversity is a typical feature of our time. Multi-ethnicity is a relevant factor for the sustainable development of society. Cross-cultural communication plays a positive role in a multi-ethnic society. Their scientific modeling is an actual and poorly researched task. This article is devoted to this problem. The authors attach great importance to the phenomenon of social associations like the Assembly of peoples.

Keywords: modeling, culture, Assembly, people, cross-cultural communication, sustainable development, multiethnic.

Этнокультурное многообразие является знаковой характеристикой нашего времени, несмотря на стремление определенных сил в мире проводить политику культурного геноцида в угоду каким-то амбициозным проектам. Культура – это образ жизни представителей тех или иных народов; то, как они мыслят, и то, что они создают. Сегодня межкультурная среда – это непосредственное окружение личности, социальной группы и народов. Она позиционируется как интеграция материальных, духовных, культурных факторов, определяющих бытие общества, жизнедеятельность существующих в нем людей, процессы трансформации коммуникативной среды, роста числа средств коммуникации и существенного расширения сферы коммуникации. Нам представляется, что с течением времени наряду с государствами в области международных и межкультурных отношений будет усиливаться активность различных ассоциаций правительственных и неправительственных организаций. В этом смысле проблема эффективного диалога культур и этносов приобретает особую значимость.

Целью настоящей статьи является обращение к модели национально-культурных ассоциаций по типу «народная ассамблея». Источниковедческой базой работы явились уставные документы и результаты деятельности участников ассоциаций этнокультурных сообществ, которые занимаются вопросами публичной дипломатии, поддержки национальных языков и культур, упроче-

ния гражданского мира и согласия. Основным методом, используемым авторами в данной статье, служит метод моделирования и сопоставления. Модель как теоретический конструкт способствует формированию семиотического представления природы изучаемых этнокультурных участников публичной дипломатии.

Ассоциации неправительственных организаций по типу «ассамблея народа/народов» отличаются своей амбивалентной спецификой. С одной стороны, юридически они подпадают под категорию общественных неправительственных организаций. Но, с другой стороны, несут функциональную нагрузку представительства объединения отдельных этносов и функционируют на общегосударственном уровне. Не случайно в Республике Казахстан принят специальный закон «Об Ассамблее народа Казахстана» от 20 октября 2008 года N 70-IV, придающий особый статус данной общественной организации. После конституционной реформы 2007 года Ассамблея народа Казахстана получила право избирать депутатов высшего законодательного органа страны.

Основной ячейкой этнокультурных ассоциаций рассматриваемого типа являются национально-культурные сообщества. *«Один этнос – одно национально-культурное сообщество»* – данная формула-бином со временем подвергается естественной трансформации. При этом закономерно происходят изменения, связанные со взаимодействием этносов в обществе. Причем надо сразу же оговориться, что важным постулатом для нас является неизменность ядерной части этнокультурной идентичности этносов при наличии фактов взаимодействия на периферии этнокультурных систем. Итак, в чем заключается трансформация бинома «один этнос – одно национально-культурное сообщество»? С первого же взгляда можно констатировать, что первая часть конструкции варьирует в сторону количественного увеличения.

Бином «один этнос – одно национально-культурное сообщество» лежит в основе *семиотической* модели. Однако в настоящее время в соответствии с реалиями изменяющегося мира имеет место варьирование компонентов бинома в рамках самой модели. Оно выражается в том, что в количественном отношении трансформируется первая его часть: не один этнос, а два и более. Это не может не сказаться и на второй части двухчастной конструкции. Для нас подобные процессы интересны с точки зрения гражданской и меж-

дународной интеграции. Обратимся к конкретному примеру из жизни этносферы Иссык-Кульского региона Киргизии.

Возьмем узбекско-уйгурский этнокультурный центр «Ренессанс», функционирующий в г. Караколе Иссык-Кульской области Кыргызстана. Как видно из самого названия общественного объединения, первая часть изменилась в количественном отношении – не одна этническая группа, а две. Вторая часть в количественном отношении не изменилась: остается один этнокультурный центр. Но это только внешнее впечатление. На самом деле здесь протекают процессы, которые для нас представляют особенный интерес.

Во-первых, несомненным отличием от первого бинома является то, что согласно прежней схеме (первый бином) поддерживался и развивался один национальный язык в качестве родного, а здесь позиционируются уже два языка. Во-вторых, в первом случае объектом поддержки и культивирования служила одна культура, в случае же с трансформацией модели в поле зрения попадают две культуры как отдельные системы мировосприятия. Итак, налицо лингвокультурная контаминация. Естественен вопрос: как в одном национально-культурном центре осуществляется такой процесс и целесообразно ли это в контексте идей сохранения этнической идентичности в современном сложном мире?

Относительно целесообразности можно привести важный довод о естественной ненасильственной интеграции и сближении отдельных этносов в полиэтническом обществе в современную эпоху. Чем отличаются естественная интеграция и сближение этносов от насильственной ассимиляции? На наш взгляд, отличие нужно усматривать в том, что ядро этнической культуры и уникальность языковой системы неизменно сохраняются, т. е. они не смешиваются, и поэтому мы не имеем негативного феномена ассимиляции, тем более насильственного характера с применением практики лагерей «перевоспитания» и т. д. Что касается взаимодействия этносов, то оно протекает на периферии лингвокультурной ментальности. И здесь мы сталкиваемся с таким важным социальным трендом, как гражданская интеграция.

Опыт прииссыккульских национально-культурных центров во многом отличается от других регионов. Нам кажется, что он может быть использован в республиканском и где-то даже в евразийском масштабе. Этнонациональная тематика – относительно молодое и

перспективное направление современных исследований [1, с. 30]. Мы обратились к ней в аспекте научного метода моделирования.

В качестве ключевого для статьи мы использовали понятие модели ассамблеи народа/народов (народной ассамблеи). Применяя метод моделирования, современные исследователи обращаются к обществу и политической системе как к нелинейной динамической системе [ср., например: 2]. В науке накоплены многочисленные представления о разных аспектах использования исследовательских моделей [3, с. 12–23].

В общественном дискурсе государств-партнеров СНГ применительно к рассматриваемым организациям часто употребляется термин «модель». Так, Ассамблея народа Кыргызстана именуется моделью единства и согласия. Казахской моделью межэтнического согласия называют процессы гражданской интеграции. Ниже под моделью мы будем понимать *семиотическое* видение структурно-функциональной природы этнокультурных ассоциаций (ассамблеи народа/народов). В опубликованной в 2016 году монографии Г. С. Абдуллаева интерпретировала модель в качестве двусторонней знаковой сущности [4, с. 35]. В подобном понимании модели в ее составе отражены типовые формальные и содержательные аспекты деятельности, например Ассамблеи народа Кыргызстана. В настоящей статье мы расширяем свое понимание модели и вводим в ее состав еще два компонента: комбинаторный (компонент, отражающий вопросы взаимодействия и интеграции) и прагматический. Таким образом, наше представление многомерной модели в качестве теоретического конструкта можно показать следующим образом:



Используемые символы означают: Φ – формальная сторона модели, подразумевающая такие внешние атрибуты, как национальная одежда, архитектура, кухня и др.; С – содержательная сторона модели (обычаи, менталитет, ценности и др.); К – комбинаторная сторона модели, фокусирующаяся на взаимоотношениях и контактах между народами (например, смешанные браки, перевод художественных произведений, культурные форумы, праздники и мероприятия и др.); П – прагматическая сторона модели (искусство, культура, образование и др.). Мы отдаем себе отчет, что жизнеде-

тельность человеческих сообществ носит сложный и часто континентализированный характер. Например, национальная ономастика может быть отнесена и к формальной, и к содержательной сторонам модели. Даже тривиальные вопросы транслитерации имен собственных являются достаточно релевантными для оптимизации международных связей и отношений. Межкультурная рефлексия, в социокультурном плане восходящая непосредственно к дипломатическим истокам, наблюдается при процессах функционального переноса антропонимов из одной линвокультурной традиции в другую в результате влияния собственно дипломатических событий. Так, например, после визита в Советский Союз известного политического деятеля в истории современной Индии Индиры Ганди в среднеазиатских республиках бывшего СССР многие девочки получили такое имя. Подобного рода «этимологическая» информация значима и с точки зрения народной педагогики [5, с. 15].

Моделирование как научный метод позволяет нам увереннее держаться и не «утонуть» при обращении к затронутому сложному социокультурному объекту исследования, а также применять приемы прогнозирования в дальнейшем в сфере управления и координации межкультурных контактов и процессов устойчивого развития общества. Как отмечает Э. Н. Ожиганов в своей монографии «Моделирование и анализ политических процессов», модель - это концептуальный инструмент, ориентированный в первую очередь на управление моделируемым процессом или явлением. При этом функция предсказания, прогнозирования служит целям управления [6, с. 15].

Фокусируясь на теме статьи на основе приведенной выше гипермодели, теперь обратимся к инвариантной модели таких социальных институтов, как ассамблеи народов стран СНГ (Российская Федерация, Республика Казахстан, Кыргызская Республика):

Ф
П--|--К
С

Ф – структура указанных субъектов публичной дипломатии; С – направления деятельности и их содержание; П – этнокультурное разнообразие в качестве ресурса; К – способы взаимодействия ассоциаций народов в рассматриваемых странах. Обратимся непосредственно к каждой стороне инвариантной модели.

Со стороны структуры ассамблеи как субъекты межэтнических отношений обнаруживают очевидный изоморфизм. Все они выступают как союзы, ассоциации и объединения неправительственных организаций этнокультурного характера, которые представляют народы тех или иных стран. Высшим органом являются съезд (Ассамблея народов России), сессия (Ассамблея народа Казахстана), курултай (Ассамблея народа Кыргызстана), общее собрание членов (Ассамблея народов Евразии). Иерархия органов управления по вертикали у рассматриваемых участников международных отношений (Совет – Президиум совета – Председатель – Ревизионная комиссия) демонстрирует изоморфизм, который обуславливает значительные возможности для установления дипломатических каналов в целях оптимального взаимодействия.

Содержательной стороной рассматриваемых социальных институтов выступают направления их деятельности. Например, направления деятельности Ассамблеи народов Евразии согласно утвержденному 27 мая 2017 года Уставу составляют:

1) содействие внедрению новых форматов взаимодействия неправительственных организаций, институтов гражданского общества, государств и членов Ассамблеи с целью укрепления согласия и единства стран Евразии;

2) содействие обмену опытом и информацией между членами Ассамблеи;

3) создание на базе Ассамблеи коммуникационной площадки по вопросам развития евразийской интеграции для координации работы институтов гражданского общества, научных и образовательных организаций, бизнеса, органов власти всех уровней и членов Ассамблеи;

4) содействие формированию нового концептуального подхода к миротворческому единению народов Евразии путем сохранения незыблемых базовых духовных ценностей, общих для всего человечества;

5) поддержка общественных, государственных, миротворческих инициатив, мероприятий и действий, направленных на сохранение мира;

6) внедрение новых форматов взаимодействия Ассамблеи, других неправительственных организаций и стран Евразии;

7) взаимодействие с международными организациями и институтами гражданского общества зарубежных государств;

8) разработка и проведение программ, проектов и мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей, деловых игр, просветительских, образовательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, связанных с уставной деятельностью Ассамблеи);

9) внесение предложений в адрес других неправительственных организаций, правительств по различным аспектам общественной жизни, участие в обсуждении проектов внесенных предложений и решений;

10) содействие проведению научных исследований и независимых экспертиз, распространению объективных сведений, точной и непредвзятой информации в сфере межнациональных и международных отношений;

11) оказание информационной, консультативной и методической помощи заинтересованным неправительственным организациям на территории государств Евразии по вопросам, соответствующим уставным целям Ассамблеи;

12) содействие сохранению евразийского материка во всем многообразии его природных, духовных, культурных, исторических достояний, направление усилий на создание безопасных и комфортных условий для жизни всех народов, населяющих Евразию;

13) разработка и распространение учебно-методических и информационных материалов в помощь членам Ассамблеи;

14) содействие ведению издательской, телерадиовещательной и других видов деятельности по связям с общественностью [7].

Прагматическая составляющая модели рассматривает значительные возможности этнокультурного разнообразия конкретных стран. Уникальность и привлекательность народов – кладезь «мягкой силы» в публичной дипломатии СНГ [8].

Наконец, комбинаторная сторона модели поворачивается по направлению к разным формам взаимодействия в области международных отношений между странами СНГ, дающего выход на культурное сотрудничество, работу с диаспорами, разнообразные диалоговые площадки. Так, в частности, здесь можно назвать различные этнокультурные и ориентированные на диалог форумы (фестивали, игры и др.), которые очень сближают народы между собой.

Мы полагаем, например, что второе дыхание нужно придать переводу произведений художественной литературы как способу отражения национальных эстетических и художественных картин мира [9, с. 81]. Их взаимодействие будет работать на взаимопонимание и сближение народов СНГ и Евразийского пространства.

Наше утверждение о значительных возможностях использования института «ассамблея народа/народов» в международных взаимосвязях базируется на изоморфизме структурно-функциональной организации данных этнополитических субъектов при их практическом функционировании. При обращении к теме «народных парламентов» ранее превалировал взгляд с позиций республиканского уровня по направлению к локальным вариантам на местах. Очевидно, является целесообразным анализ потенциала народных ассамблей в обратном направлении: от малых ассамблей к республиканскому, а в последнее время и по направлению к евразийскому уровню. Моделирование предполагает идентификацию наиболее обобщенных признаков инвариантной модели, которые затем должны учитываться при организации этнокультурной деятельности на всех уровнях. Это послужит еще большему сближению народов и стран и развитию новых форматов взаимодействия между ними.

Как показывают наблюдения, народные ассамблеи сходны между собой благодаря наличию языкового вектора их деятельности. На пространстве СНГ в настоящее время функционируют ряд государственных языков, статус и функции которых получили законодательное закрепление. Так, например, Ассамблея народа Кыргызстана в своей Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике выделяет отдельную главу «Объединяющая роль государственного языка и развитие языкового многообразия».

Имманентно присущей народным ассамблеям задачей следует признать задачу поддержки и развития национальных языков в качестве родных. Для множества национальных языков постсоветского пространства характерны различные проблемы, среди которых можно отметить проблему функциональной активности, подготовку национальной гуманитарной интеллигенции, вопросы национальной литературы и др. [5, с. 5–11]. Языковая полифония позволяет поднять качество содержания жизни граждан стран

участниц СНГ, создает условия культурного взаимодействия и взаимобогащения [4].

Язык – один из этнообразующих факторов, который можно использовать как в конструктивном, так и в деструктивном ключе. За каждым языком стоят его носители, их культура и картина мира. Разные языки характеризуются различными характеристиками функционального потенциала. Ощутимую роль в их координации и целенаправленном развитии в масштабе СНГ могут сыграть народные ассамблеи, в арсенале которых скрыты значительные возможности. Самым главным ресурсом здесь следует считать факторы, которые обуславливают устойчивое развитие народов стран СНГ.

Подведем итоги. Народные ассамблеи характеризуются известной амбивалентностью. Функционируя как разновидность общественных организаций, они тем не менее представляют народы целых государств. Их основной ячейкой являются национально-культурные сообщества, соответствующие биному «один этнос – одно национально-культурное сообщество». Такие социальные структуры могут подвергаться варьированию преимущественно формального характера, когда первая сторона биннома количественно увеличивается. Тем не менее это влечет за собой и изменения содержательного плана. Инвариант базируется на многомерной модели семиотического характера. Изоморфизм народных ассамблей обнаруживает значительный потенциал, который может быть использован для устойчивого развития народов СНГ.

Библиографический список

1. Артыкбаев А. М. Определение понятий «этнос» и «этнонационализм» // Вестник Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. Бишкек. 2009. Сер. 1. Вып. 1. С. 30–34.
2. Петухов А. Ю. Моделирование социальных и политических процессов. Нижний Новгород, 2015. 141 с.
3. Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ политических процессов. М., 2009. 189 с.
4. Абдуллаева Г. С. Модельно-правовые вопросы этнокультурализма. Саарбрюккен, 2016. 67 с.
5. Нигматов Ж. Г. Этнопедагогика. Казань, 2002. 151 с.
6. Черемисина М. И. Состояние языка как показатель духовной культуры народности // Предложение как единица языка и речи. Новосибирск, 2019. С. 4–11.

7. Устав Ассамблеи народов Евразии. URL: <http://xn--80aaadglf1chnmbxga3u.xn--p1ai/ustav-0> (дата обращения: 07.05.2019).

8. Абдуллаев С. Н., Абдуллаева Г. С. Политика, экономика и окружающая среда: проблема приоритетов на просторах Евразии // Современные евразийские исследования. 2017. № 3. С. 122–128.

9. Абдуллаева Г. С. Перевод как инструмент интегративных процессов // Евразийский экономический союз и социогуманитарное сотрудничество. Бишкек, 2016. С. 78–83.

References

1. Artykbayev A. M. Opredeleniye ponyatiy “etnos” I “etnonatsionalizm” [The definition of “ethnicity” and “ethnic nationalism”]. *Vestnik Kyrgyzskogo natsionalnogo universiteta im. J. Balasagyna*, 2009, vol. 1, no 1, pp. 30–34 [In Russ.].

2. Petuhov A. Yu. Modelirovaniye social'nyh i politicheskikh protsessov [Modeling social and political processes]. Nizhnij Novgorod, 2015. 141 p. [In Russ.].

3. Ozjiganov E. N. *Modelirovaniye I analiz politicheskikh protsessov* [Modeling and analysis of political processes]. Moscow, 2009, 189 p. [In Russ.].

4. Abdullayeva G. S. Modelno-pravovyye voprosy etnokulturalizma. [Model and legal issues of ethnoculturalism]. Saarbruecken. 2016, 67 p. [In Russ.].

5. Nigmatov J. G. *Etnopedagogika* [Ethnic pedagogy]. Kazan, 2002. 151 p. [In Tatar].

6. Cheremisina M. I. Sostoyaniye yazyka kak pokazatel' duhovnoi kul'tury narodnosti [The state of the language as an indicator of the spiritual culture of the nation]. *Predlozheniye kak edinitca yazyka i rechi*. Novosibirsk, 2019, pp. 4–11. [In Russ.].

7. Ustav Assamblei narodov Evrazii [Charter of the Assembly of peoples of Eurasia]. Available at: <http://xn--80aaadglf1chnmbxga3u.xn--p1ai/ustav-0> (accessed 07.05.2019).

8. Abdullayev S. N., Abdullayeva G.S. Politika, ekonomika i okruzhayushaya sreda: problema prioritetov na prostorah Evrazii [Politics, economy and environment: the problem of priorities in the vast expanses of Eurasia]. *Sovremennyye evraziyskiye issledovaniya*. 2017, no 3, pp. 122–128 [In Russ.].

9. Abdullayeva G. S. Perevod kak instrument itegrativnykh protsessov [Translation as a tool for integrative processes]. *Evraziyskiy ekonomicheskiy soyuz i sotsiogumanitarnoye sotrudnichestvo*, Bishkek, 2016, pp. 78–83. [In Russ.].

А. Г. Некита

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,
г. Великий Новгород

Голод как фактор социальной эволюции: идеология игровых страданий и смерти в голливудской франшизе «Голодные игры»¹

На примере медиафраншизы «Голодные игры» статья анализирует агональные, трофические и иные биополитические стратегии массовой культуры. Этот цикл фильмов превращает голод из «вечной» социально-политической и экономической проблемы в мифологию общенационального идеологического ритуала жертвоприношения молодости ради достижения мнимой социальной стабильности. Антиутопический проект франшизы фатализирует социальную уязвимость молодежи – жертвы политических стратегий геронтократии, которая с помощью трофических и игровых спекуляций стремится удержать население под неусыпным физическим и духовным контролем.

Ключевые слова: архетип, визуализация сакральных смыслов, трофические игры, эстетизация голода, мифология, постколониальная идеология, антиутопия, американский фильм ужасов, этология массовой культуры, биополитика.

A. G. Nekita

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod

Hunger as a Factor of Social Evolution: Ideology of Gaming Suffering and Death In the Hollywood Franchise «The HungerGames»

The article analyzes agonal, trophic and other biopolitical strategies of mass culture on the example of the media franchise «Hunger games». This series of films transforms hunger from an “eternal” socio-political and economic problem into the mythology of a nationwide ideological ritual of sacrificing youth in order to achieve imaginary social stability. The dystopian project of the franchise fatalizes the social

© Некита А. Г., 2020

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-00129.

vulnerability of young people – victims of the political strategies of the gerontocracy, which with the help of trophic and game speculation seeks to keep the population under constant physical and spiritual control.

Keywords: *archetype, visualization of sacred meanings, trophic games, aestheticization of hunger, mythology, postcolonial ideology, dystopia, American horror film, ethology of mass culture, biopolitics.*

Американский кинематограф, стремительно ворвавшись в европеизированное культурное пространство планеты в сложнейший поворотный момент мировой истории всего за сто лет, к началу XXI века, превратился в одно из наиболее действенных художественных, коммуникативных и идеологических средств воздействия на общество и индивида. Благодаря необыкновенной чувствительности к насущным социокультурным проблемам этот жанр искусства не только стремился развлекать публику, но и пытался достаточно оригинально, образно осмыслить причины и возможные следствия обнаруженных ним острейших социальных противоречий. Именно их доступная, зачастую откровенно шокирующая визуализация придает голливудским хоррор-киноаргументам значительный вес, создавая условия для превращения кинематографа в полноценного субъекта повседневной культурной практики, агента социального действия и неоспоримого властного ресурса идеологических манипуляций.

В отличие от текущей практической политики, которой очень часто свойственна концентрация на сиюминутных проблемах, кинематограф, подобно мифу, раскрывает целую социальную историю в каждом отдельно взятом сюжете и биографии. Однако от этого киноповествования становятся лишь еще более убедительными, что, в свою очередь, создает условия для постепенной трансформации общества, которое превращается в особую визуально-потребительскую среду и в дальнейшем уже само ориентируется только на подобные аргументы. Поэтому американский кинематограф становится концентрированным выражением сущности современного общества и его социально-антропологических трендов.

Ушедший в историю XX век стал именно тем временем, когда из глубин коллективной памяти в пропагандистских и развлекательных целях были одна за одной извлечены уже казалось бы давно позабытые социальные беды и отработанные цивилизацией сценарии их сублимации или вытеснения. Показательно, что с момента возникновения голливудского жанра киноужаса именно голод и

смерть, войны и конфликты, болезни и страдания сразу же становятся одними из самых излюбленных кинематографических тем, которые парадоксальным образом превращают кино в изысканное, эстетизированное, философствующее искусство, парадоксально доступное как для элиты и среднего класса, так и для широких, малограмотных масс, бесконечно ищущих острых ощущений столь же настойчиво, как и развлечений. Совершенно логично при этом, что взаимная, почти «единодушная» ориентация власти и массы на подобный экстремальный тематизм и сформировала особый жанр кинематографа, получивший вполне ожидаемое и предсказуемое для цивилизованного человечества название «фильм ужасов», жанр, который «является прибыльным продуктом современной культурной индустрии, а также представляет собой экстраординарную антропологическую стратегию» [1, с. 96]. В то время как политики в основном ориентировались на дискурс долженствования (принуждения), бесконечно, щедро и как всегда лживо обещали народу скорое приближение эры всеобщего достатка, счастья и благополучия; фильм ужасов, наоборот, пытался зафиксировать, выпятить или бесконечно гиперболизировать все наличные проблемы. Для этого голливудские режиссеры наскоро учились в гротескной, экстравагантной манере до предела обострять их, тем самым провоцируя массового зрителя на необходимость размышлений (переживаний) по поводу брэнности посюстороннего мира на фоне фатальной неизбежности хронотопа текущего киносеанса.

В определенном смысле традиция американских фильмов ужасов является весьма неординарной попыткой визуализации марксистских, а позднее и неомарксистских идей в пространстве классического капитализма, стремительно мутирующего в постиндустриальном, информационном и досуговом направлении. И неудивительно, что именно США и Голливуд в жестокой конфронтации сначала с «умирающей» Европой, потом с коммунистическим, а затем и разваливающимся колониальным миром, превратили фильм ужасов в подлинный брэнд и идеологический таран западной цивилизации. Целенаправленно разоблачая идею прогресса и отвергая любые рациональные попытки определения направленности исторического и социокультурного процесса, голливудский фильм ужасов является весомым аргументом, повседневно убеждающим обывателя в абсурдности любого «проектирования» будущего, отстоящего от текущего момента хотя бы на ближайшую минуту.

Посему основная жизненная стратегия «обычного» человека всегда должна концентрироваться исключительно на гедонистических ценностях и потребительских сценариях их повседневного воплощения, желательно в пределах «шаговой» доступности. Для формирования эффективной системы обоснования жизненных стратегий «среднего» человека в массовой культуре властью и бизнесом традиционно используются преимущественно базальные, биотические мотивы, связанные с рисками для жизни и здоровья. При этом к мотивам «первого эшелона» следует отнести пищевую нужду и угрозы, связанные с отсутствием или с возможной потерей пищи. Эта тема становится сквозной для американской традиции фильмов ужасов, всякий раз заостряя внимание зрителей на проблеме голода, которая фактически является ровесницей цивилизации.

Поэтому на голливудских экранах непрерывно визуализируются сюжеты, в которых зрители наблюдают то сцены изощренной кровавой охоты (поиска пищи), то детали ритуальных пиршеств маргинальных, вечно голодных персонажей, прямо на глазах публики жадно поедающих только что умерщвленных жертв. Помимо исключительно биотических мотивов, связанных с поиском, добычей и поеданием пищи, в американских фильмах ужасов регулярно появляются и сюжеты о дефиците еды, который обусловлен исключительно социальными или политическими факторами. Поэтому голод и по версии американских фильмов ужасов является одной из неразрешимых, «вечных» проблем цивилизации.

Одной из наиболее ярких кинорефлексий Голливуда последних лет на эту животрепещущую тему является медиафраншиза, сборы лишь от первой части которой превысили бюджет почти в девять раз. Мировой зритель знает ее под названием «Голодные игры» (англ. *«The Hunger Games»*, реж. Г. Росс, «Lionsgate» и др., США, 2012); «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (англ. *«The Hunger Games: Catching Fire»*, реж. Фр. Лоуренс, «Lionsgate» и др., США, 2013); «Голодные игры: Сойка-пересмешница» (англ. *«The Hunger Games: Mockingjay»*, реж. Фр. Лоуренс, «Lionsgate» и др., США, 2014–2015). Показательно, что режиссер Гэри Росс экранизирует одноименный роман Сьюзен Коллинз в крайне непростое для западной цивилизации начала нового тысячелетия время. Череда военных конфликтов в странах Северной Африки, Ближнего Востока серьезно ухудшила и без того проблемную экономическую, социально-политическую,

демографическую и продовольственную ситуацию, что в итоге обернулось крупнейшим со времен Второй мировой войны миграционным кризисом 2013–2016 годов. Только статистически он описывается в документах «Русской службы BBC» миграционным потоком, который по разным данным оценивается в 2014 году в 700000 беженцев, а в 2015 – от 1 до 1,8 миллиона беженцев и нелегальных мигрантов [2]. Разумеется, с насиженных мест в цивилизованные страны ЕС людей гнали страх за свою жизнь, бомбежки, разрушения, хаос и реальная угроза голодной смерти.

На фоне таких исторических обстоятельств сюжет «Голодных игр» получает особое символическое звучание. Ужасные события франшизы происходят в вымышленном государстве Панем – «страны, возникшей из пепла на том месте, которое когда-то называли Северной Америкой» [3, с. 23], название которого уходит своими корнями в самую «онтологию» западной цивилизации – историю Римской империи. Это слово встречается в 10 сатире римского поэта-сатирика I века новой эры Децима Юния Ювенала «Panem et eircenses», что означает «хлеба и зрелищ»:

Этот народ уж давно, с той поры, как свои голоса мы Не продаем, все заботы забыл, и Рим, что когда-то Все раздавал: легионы, и власть, и ликторов связки, Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает: Хлеба и зрелищ! [4, с. 105].

Как и в случае с управленческими экспериментами в Риме, подобный афоризм традиционно характеризует политико-идеологическую практику, связанную с необходимостью отвлечения поставленного на грань выживания народа от значимых социальных проблем посредством раздачи бесплатного хлеба и организации гладиаторских боев для развлечения беднейших слоев населения Римской империи.

В случае же с голливудскими «Голодными играми» эта идея получает откровенно антиутопическую интерпретацию и становится неотъемлемой частью имиджа диктаторского режима Панема, который опирается на новую стратегию медийно-игровой интерпретации древнеримской управленческой максимы. В отличие от древних латинян, для нивелирования остроты наличных социально-политических, экономических и нравственных проблем власти Панема принудительно погружают жителей в воспоминания о «голодном» и военном прошлом их государства, во времена «темных» дней, когда дистрикты (округа) объединились в борьбе против Ка-

питолия – столицы вымышленного тиранического государства, достаточно оригинальным способом принесшего «мир и благоденствие своим гражданам» [3, с. 23].

После фатального поражения дистриктов, противопоставивших себя законной власти, в назидание потомкам и были учреждены общенациональные «Голодные игры» как ежегодный кровавый праздник жестоких убийств и смерти, когда по жребию из каждого дистрикта выбираются дети и подростки. По сюжету романа «с вероломными дистриктами был заключен договор, снова гарантировавший мир и давший нам Голодные игры в качестве напоминания и предостережения, дабы никогда впредь не наступали Темные Времена» [3, с. 23]. С. Коллинз так описывает правила организации ежегодной Жатвы: «В наказание за мятеж каждый из двенадцати дистриктов обязан раз в год предоставлять для участия в Играх одну девушку и одного юношу – трибутов. Двадцать четыре трибута со всех дистриктов помещают на огромную арену: там может быть все, что угодно, – от раскаленных песков до ледяных просторов. Там в течение нескольких недель они должны сражаться друг с другом не на жизнь, а на смерть. Последний оставшийся в живых выигрывает» [3, с. 23]. Будучи жестоко изъятными из нищенской, средневековой повседневности и принудительно брошенными в мясорубку «Голодных игр», молодые люди всякий раз оказываются фатальными заложниками зловещей воли власти. Ведь в ежегодной кровавой «жатве», прообразом которой для С. Коллинз «стал известный миф о Тезее и лабиринте Минотавра» [5, с. 519], выжить может только один из них, которого в Капитолии президент Панема торжественно объявит победителем.

Новизна этой биополитической стратегии состоит в умелом объединении игрового, трофического и медийного компонентов антиутопической тоталитарной власти. Однако в голливудской франшизе от возвышенного агонального духа и архетипического символизма игры вообще мало что остается, она как бы раздваивается: с одной стороны, это яркая, динамичная, высокотехнологичная медийная история (которая демократично и демонстративно рассказывается населению дистриктов в прямом эфире) о силе, ловкости, стойкости и выносливости молодых людей в самом расцвете их сил и способностей. Конечно, «Голодные игры» – это крайне своеобразная, очень жестокая и кровавая, но актуальная и современная инициация-индивидуация, публичное действо по отбору и медийному (в прямом эфире!) «производству» общенациональных героев,

которыми затем под страхом смерти обязаны пожизненно и демонстративно гордиться представители всех дистриктов. С другой стороны, Голодные игры – это, несомненно, ужаснейшие и циничные ритуалы публичного, медийного жертвоприношения молодости, как аллюзии на христоподражание [6, с. 14], хорошо продуманные и срежиссированные комплексы мер по превентивному предотвращению социальной конфронтации, пресечению на корню революционных движений, предотвращению любой, пусть даже *кажущейся* угрозы хищнической, геронтократической и насквозь больной в физическом и нравственном отношении имперской власти. Известный российский специалист по сравнительной этологии Виктор Дольник, замечает в этой связи, что в человеческих обществах «обычно геронтократия возникает, когда официальный лидер не уверен в себе и боится более молодых. Подтягивая к себе таких же старых и не уверенных в себе, как он сам, и делясь с ними властью, он формирует старческую верхушку, для которой страх потерять власть перевешивает стремление править единолично» [7, с. 75].

Всякий раз уничтожая лучших юношей и девушек дистриктов в ежегодной кровавой мясорубке, Капитолий попутно осуществляет еще и полномасштабное медиаформатирование подчиненного социального и географического пространства в заданном направлении. Старшее поколение, наблюдая за смертельными схватками молодежи, погружается в состояние ритуально-медитативного транса, бессознательные общенациональные поминки по только что убитым потомкам. Что фактически означает ежегодное, ритуальное «обеззараживание» будущего страны. С другой стороны, само молодое поколение, на грани голодной смерти созерцающее и смакующее подобные бойни, социализируется исключительно страхом, насилием и нищетой, которые актуализируют биотические программы по самосохранению, в рамках замечательно описанного русским, советским биологом А. Северцовым направления эволюционного процесса, названного им «общей дегенерацией», или «вторичным упрощением организации» [8, с. 318].

Экстраполируя выводы А. Северцова на биополитическое пространство голливудской франшизы «Голодные игры», можно заметить удивительные совпадения, касающиеся отчаянного стремления геронтократической власти Капитолия до предела упростить социокультурную организацию Панема, связанную, по нашему мнению, с упоминаемым ученым «морфофизиологическим регрессом»

[8, с. 318] государства, равнозначным, в описываемом случае, насильственному вытеснению и последующему полному устранению социально-политических институтов и систем, ранее имевших цивилизационное значение. А. Северцов обоснованно считал, что таким способом организм может гарантированно достичь минималистичного «прогресса». Мы уверены, что в нашем примере социальный «организм» Панема стремится к подобному «прорыву» как раз в актуальных для власти политико-идеологических направлениях. Так, например, в подобных условиях именно военизированные структуры «миротворцев», фешенебельное транспортное сообщение между дистриктами для публичных туров «победителей» Голодных игр, высокотехнологичные полигоны для публичных кровавых убийств, харизматичные ведущие и стилисты, студии для ток-шоу проекта и прочие медийные компоненты тиранической власти Капитолия получили максимальное развитие. Конечно же, всего этого центральная власть смогла добиться за счет насаждения и расширенного воспроизводства атмосферы страха, а также радикального снижения общего культурного уровня населения, вытеснения у молодежи всяческого желания развиваться, учиться, общаться, творить, мыслить и действовать.

Показательно, что сценарная часть ежегодного шоу «Голодные игры» неизменно выстраивается на реактуализации в массовых представлениях беднейших жителей Панема конфликта с властью как основной причины их голода и страданий. При этом совершенно понятен выбор центральной власти, всякий раз останавливающийся на лучших детях и подростках дистриктов в качестве будущих ритуальных жертв. Ведь именно они, будучи наиболее активной, мобильной, интересующейся социальной группой, в этой модели государства идеологически представляются основными «виновниками» всех прошлых страданий общества и воплощают перманентную потенциальную угрозу для социальной стабильности власти Капитолия. Демонстрируя в «Голодных играх» свою пустую и заведомо обреченную, танатологическую активность, молодое поколение являет всем свою сублимированную в жестоких убийствах безгласность, бесправие и безответственность. Всякий раз показывая всему Панему формальную «заслуженность» тех издевательств и наказаний, которым они подвергаются в ходе очередной кровавой игровой «сессии» Капитолия.

Поэтому фактические публичные, и даже более того, медийные, высокотехнологичные казни юношей и девушек в смертельных Го-

лодных играх выражают общесоциальное бессознательное стремление во что бы то ни стало предотвратить в будущем голод, бедствия и войну путем принесения полудобровольных искупительных жертвоприношений от каждого из двенадцати дистриктов Панема. Упомянувшийся нами В. Дольник для объяснения подобных человеческих стратегий использует результаты собственных многолетних исследований поведения приматов. Он отмечает, что стая обезьян всегда воюет своими детьми, а в «войске у них – сплошь молодые самцы. Сами патриархи-геронтократы предпочитают не воевать, они в центре. Война детьми – видовой признак приматов. Он остался и у нас» [9]. В такой логике становится понятным и прагматичный, почти «бухгалтерский» мотив Капитолия по отношению к молодежи: молодость – это возраст непроизводственных дел, демонстративной свободы, эмоциональной и социальной незрелости, беспечности и безответственности. Это возраст, в котором люди выступают в основном иждивенцами и потребителями, носителями всевозможных пороков, «с помощью которых идеологически проектируется разметка будущей социальной среды» [10, с. 88], бездумно и с легкостью растрачивая ресурсы, с таким трудами и рисками созданные старшими поколениями. Так Сьюзен Коллинз героизирует молодежь как «козла отпущения», на которого геронтократическая власть Капитолия с удовольствием «вешает» все беды, с которыми столкнулась или может столкнуться человеческая цивилизация, идеологически символизируемая Панемом. Поэтому голод является не только общекультурным символом, но и *естественным* политико-идеологическим фоном, до основания развенчивающим социальную деструктивность, фактический «паразитизм» детства и молодости.

Осознание элитой Капитолия этой горькой биополитической «правды» создает идеологические предпосылки развязывания ужасной и кровавой общесоциальной войны против детей и юношества как непроизводящей, ресурсозатратной, праздной, а потому маргинальной, антиправительственной социальной группы. Подло лишая общество ресурсов, именно «преступная» по определению молодость становится основной причиной биотических и социальных катастроф, а голод оказывается естественным следствием вышедшего из под контроля молодого поколения. Но поскольку виновник прошлых социальных бедствий наконец найден и публично назначен, власти Панема остается лишь сформировать адекватную по силе, диктаторскую модель тоталитарного контроля уже не

столько за собственно подрастающим поколением, сколько за всем обществом в целом, используя травлю его лучших представителей.

Надо отметить, что экранизированная Голливудом антиутопическая модель С. Коллинз представляет собой типичный сценарий медийной рефлексии массовой культуры начала XXI века по поводу традиционных практик тоталитарной власти, связанных с удержанием собственного населения под неусыпным физическим и духовным контролем. В первую очередь это относится к искусственно вызываемому и тщательно поддерживаемому дефициту пищи и целому комплексу политических стратегий, именуемых Голодом – ведь именно он в истории цивилизации традиционно и достаточно эффективно выполнял многие управленческие задачи. Питирим Сорокин, тщательно изучая традиционно наполненную ужасом и страданиями социальную историю, с горечью отмечает эту ситуацию в предисловии к книге «Человек и общество в условиях бедствий»: «Войны и революции, голод и эпидемии опять бесчинствуют на нашей планете. Опять они собирают свою кровавую дань со страдающего человечества, опять они оказывают влияние на каждый момент нашего существования: на наши умственные способности и поведение, на нашу общественную жизнь и культурные процессы. Как падший демон, они отбрасывают свою тень на каждую нашу мысль, на каждое действие, которое мы совершаем» [11, с. 9]. Поэтому, по нашему убеждению, всегда являясь неизбежным спутником войн, болезней и смертей, голод выступает «естественным» регулятором численности населения, эффективным способом превентивной борьбы с политической, религиозной, национальной и культурной оппозицией. Он же издревле выступает и тем биотическим, инстинктивным «коротким поводом», с помощью которого власть традиционно сдерживает и регулирует творческое развитие отдельной личности.

Голод, который «тихой сапой иссушил сами источники воли к жизни, “не мытьем, так катаньем” погасил защитные рефлексy» [12, с. 163] подчиненного населения, всегда надежно гарантирует тоталитарной власти удержание социального целеполагания на уровне биотических потребностей и стратегий, программирование общественных настроений, удерживание существующей модели социального управления. В совокупности идеологически закреплённые бессознательные индивидуальные и социальные реакции населения на такого рода биополитическую ситуацию, особенно при условии создания циклически повторяющихся ритуалов по их акту-

ализации, формируют устойчивые, первоначально условные, а затем и безусловные рефлексy, замещающие первоначально сознание, а впоследствии биотические установки и инстинкты. В таком случае можно считать, что искомый тип общества властью эффективно и «искусно смоделирован» [13, с. 200], а значит ее тоталитарный эксперимент вполне удался.

Именно поэтому ежегодные Голодные игры, насаждаемые Капитолием в ужасном биополитическом пространстве Панема, являются как искомым управленческим ресурсом, так и действенной медийной технологией. Эти факторы совокупно формируют устойчивую, консервативную и агрессивно-инертную, иерархически стратифицированную и пространственно делимитированную социальную среду. Фактически скроенное по таким биополитическим лекалам социальное пространство, надежно и достаточно экономично (лишь трофическими инстинктами и силой страха), удерживает человека исключительно на грани физического выживания. Общество же, опустившееся в пучину базальных, биотических потребностей, фактически лишается высокой культуры и бессознательно обваливается в этологию стада, где борьба альфа-самца или самки за безусловное доминирование оказывается единственным смыслом социальной коммуникации, исходной и конечной целью существования этого сообщества.

Выводы

На примере медиафраншизы «Голодные игры» мы можем наблюдать, как современный американский фильм ужасов, активно мимикрируя в рамках типичной подростковой тематики и образности, исподволь приобретает ярко выраженное общесоциальное звучание, трансформируя исключительно антропологическую, социальную, корпоративную и поколенческую проблематику в ведущие биополитические тренды. Различные аспекты этой проблемы неоднократно поднимали в своих трудах такие выдающиеся представители современной философии, как М. Фуко, Дж. Агамбен, А. Негри и т. д. При этом он из исключительно досуговой реальности превращается в форму социальной рефлексии и сокрушительной критики существующих организационно-управленческих, политических моделей. Выводя на первый план голод, нищету, болезни и иные «вечные» спутники цивилизации, американский фильм ужасов использует естественные биотические смыслы, способные на базальном уровне, с помощью коллективного страха, хоть как-то идеоло-

гически объединить разрушающийся на уровне «органов, «систем», «тканей» и «клеток» социальный организм.

Библиографический список

1. Некита А. Г. Нутро и Поверхность: к феноменологии телесности в американском фильме ужасов // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 35. С. 96–105.
2. Миграционный кризис в Европе в цифрах и графиках // BBC Русская служба. URL: https://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts (дата обращения: 23.10.2019).
3. Коллинз С. Голодные игры. И вспыхнет пламя. Сойка-пересмешница. М.: Астрель, 2013. 894 с.
4. Ювенал. Сатиры. СПб.: Алетейя, 1994. 224 с.
5. Никольский Е. В. Модификация традиционных мифологем в антитоталитарной трилогии Сьюзен Коллинз «Голодные игры» // Национальные коды в европейской литературе XIX–XXI веков : коллективная монография. Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 2016. С. 515–524.
6. Brake D. The religious and political overtones of Hunger Games. The Washington Times. March 31, Retrieved April 1, 2012. 14 p.
7. Дольник В. Р. Этологические экскурсии по запретным садам гуманистичеив // Природа. 1993. № 2. С. 73–86.
8. Северцов А. С. Теория эволюции : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 510600 «Биология». М.: Владос, 2005. 380 с.
9. Человек безумный. Беседа с этологом Виктором Дольником // Новая газета. 2005. № 35. 23 мая.
10. Маленко С. А. От «Final Girl» к единственной Великой Матери: Голливудский хоррор и стратегии постгуманизма // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 35. С. 87–96.
11. Sorokin P. A. Man and Society in Calamity. New York: Greenwood Press, 1968. 310 p.
12. Сорокин П. А. Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь. М.: Academia & LVS, 2003. XII. 684 с.
13. Шишкина С. Г. Истоки и трансформации жанра литературной анти-утопии в XX веке. Иваново: Ивановский гос. химико-технологический ун-т, 2009. 232 с.

References

1. Nekita A. G. Nutro i Poverhnost': k fenomenologii telesnosti v amerikan-skom fil'me uzhasov [Insides & Surface: to the phenomenology of physicality

in the american horror film]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie*, 2019, no 35, pp. 96–105. (In Russ.)

2. Migracionnyj krizis v Evrope v cifrah i grafikah [The migration crisis in Europe in figures and the graphs]. *BBC Russkaya sluzhba*. Available at: https://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts (accessed: 23.10.2019). (In Russ.)

3. Kollinz S. *Golodnye igry. I vspyhnet plamya. Sojka-peresmeshnica* [The hunger games. And the flames will break out. Mockingjay]. Moscow: Astrel' Publ., 2013. 894 p. (In Russ.)

4. Yuvenal. *Satiry* [Satires]. St. Petersburg, Aleteya Publ., 1994. 224 p. (In Russ.)

5. Nikol'skij E. V. Modifikaciya tradicionnyh mifologem v antitotalitarnoj trilogii S'yuzen Kollinz «Golodnye igry» [Modification of traditional mythologies in Susan Collins 'anti-totalitarian trilogy the «Hunger games»]. *Nacional'nye kody v evropejskoj literature HIH–XXI vekov: kollektivnaya monografiya*. Nizhnij Novgorod, Nizhegorodskij gosudarstvennyj universitet im. N.I. Lobachevskogo Publ., 2016, pp. 515–524. (In Russ.)

6. Brake D. The religious and political overtones of Hunger Games. *The Washington Times*. March 31, Retrieved April 1, 2012, 14 p.

7. Dol'nik V. R. Etologicheskie ekskursii po zapretnym sadam gumanitariev [Ethological tours of the forbidden gardens of the Humanities]. *Priroda*, 1993, no 2, pp. 73–86. (In Russ.)

8. Severcov A. S. *Teoriya evolyucii* [Theory of evolution]: uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po napravleniyu 510600 «Biologiya». Moscow, Vlos Publ., 2005. 380 p. (In Russ.)

9. *Chelovek bezumnyj. Beseda s etologom Viktorom Dol'nikom* [A mad man. Conversation with ethologist Victor Dolnik]. *Novaya gazeta*, 2005, no 35, 23 may. (In Russ.)

10. Malenko S. A. Ot «Final Girl» k Edinstvennoj Velikoj Materi: Gollivudskij horror i strategii postgumanizma [From the “Final Girl” to a single Great Mother: Hollywood horror and the strategy of post-humanism]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie*, 2019, no 35, pp. 87–96. (In Russ.)

11. Sorokin P. A. *Man and Society in Calamity*. New York, Greenwood Press, 1968, 310 p.

12. Sorokin P. A. *Golod kak faktor. Vliyanie goloda na povedenie lyudej, social'nuyu organizaciyu i obshchestvennuyu zhizn'* [Hunger as a factor. The impact of hunger on human behavior, social organization and social life]. Moscow, Academia & LVS Publ., 2003, XII, 684 p. (In Russ.)

13. Shishkina S. G. *Istoki i transformacii zhanra literaturnoj antiutopii v XX veke* [Origins and transformations of the genre of literary dystopia in the XX century]. Ivanovo, Ivanovskij gos. himiko-tehnologicheskij un-t Publ., 2009. 232 p. (In Russ.)

С. А. Маленко

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,
г. Великий Новгород

**«Имя им легион»: идеологема противостояния социума
и дочеловеческих форм жизни в американских
фильмах ужасов¹**

В статье анализируются идеологические стратегии визуализации ключевого для современной цивилизации конфликта между человеком и природой на примере традиции американских фильмов ужасов. Регулярная эксплуатация Голливудом архетипических, териоморфных символов актуализирует смыслы архаических мифологий. Появление персонажей низших мифологий указывает на насущную потребность в адаптации современной цивилизации к общекультурной и коллективной символической. Это позволяет эффективно управлять ментальным ядром этнических культур, имитируя необходимый уровень динамизма.

Ключевые слова: визуализация, архетип, териоморфные символы, мифология, сакральные смыслы, постколониальная идеология, природа, американский фильм ужасов, массовая культура.

S. A. Malenko

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod

**«Name Them Legion»: The Ideologeme Of The Confrontation
Between Society And Prehuman Life Forms
In American Horror Films**

The article analyzes the ideological strategies of visualization of the key conflict between man and nature for modern civilization on the example of the tradition of American horror films. Hollywood's regular exploitation of archetypal, theriomorphic symbols actualizes the meanings of archaic mythologies. The appearance of the characters of the lower mythologies indicates the urgent need for adaptation of modern civilization to the General cultural and collective symbolism.

This allows you to effectively manage the mental core of ethnic cultures, simulating the necessary level of dynamism.

Keywords: *visualization, archetype, theriomorphic symbols, mythology, sacred meanings, postcolonial ideology, nature, American horror film, popular culture.*

Введение

Американские фильмы ужасов, ставшие для современной медиасреды «незаменимой частью индустрии развлечений наравне с комедийными шоу на ТВ и стендап-комиками» [1], представляют собой особую, изначально идеологически ориентированную художественную практику. В условиях цивилизационной потребительской доминанты она активно и последовательно претендует на совокупное представление чувственных и эмоциональных моделей отношения человека к окружающему миру и живой природе. Именно в них наиболее убедительно и последовательно визуализируются актуальные идеологические стереотипы приоритетных властных моделей коммуникации с естественными конкурентами и оппонентами человека, непрерывно и все еще успешно оспаривающими сложившуюся на планете модель его господства над природой.

Однако лишь специалисты, хорошо знакомые с историей и особенностями становления голливудской традиции фильмов ужасов, наглядно представляют себе дальнейшие сценарии развития упомянутой нами практики. Природа, впервые визуализированная американским хоррор-кинематографом в начале XX века, сначала «успешно» превратилась в «мастерскую», а затем в «фабрику» и «ресурсный конвейер». К тому же, извечно сакральная для традиционных мифологий и культур, мать-природа попутно обрела очертания склада сырья, запчастей и готовой продукции, профиль торговой площадки. Наконец, уже к началу XXI века природа получила статус полигона по «утилизации» остатков комплекса превосходства человека над до-человеческими формами жизни, который индустриальная цивилизация активно формирует и продвигает в конкурентной рыночной борьбе со «вмещающим» ландшафтом. Именно эта модель и составила как материальную основу, так и необходимую для ее обоснования и популяризации в массах идеологическую надстройку, превратившиеся со временем в способ производства и потребления всех политических практик постиндустриального человечества.

Ужасы синантропной коммуникации и ее цивилизационные топосы

На уровне обывательских представлений об окружающем мире из всего многообразия жизни в горизонте повседневности западного человека присутствует лишь ничтожное количество типичных (синантропных) видов, с которыми он чаще всего контактирует. Однако даже в этом случае, судя по голливудским версиям визуализации межвидовой коммуникации, человечество взаимодействует от силы с сотней видов существ, живущих на планете. При этом самую многочисленную их группу, еще со времен библейских «казней египетских», составляют насекомые. Вот как о нашествии саранчи говорит Ветхий Завет: «Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой» [2, Исход 10:15].

Показательно, что млекопитающие, рыбы, пресмыкающиеся, земноводные и птицы представлены в традиции американских фильмов ужасов лишь отдельными, наиболее опасными, хищными и свирепыми видами. Добавим, что намеренно деструктивные сценарии голливудской киноэксплуатации образов абсолютного большинства перечисленных видов животных, как правило, не связаны с местами традиционного обитания человека. Но, тем не менее, люди настойчиво стремятся попасть именно туда лишь для того, чтобышний раз продемонстрировать свою колониальную ментальность, уровень технического превосходства и повадки самого жестокого и алогичного на Земле хищника. При этом важно, что домашние животные, повседневные спутники человека, как правило, не попадают в хоррор-истории. Но в тех случаях, когда они все же становятся героями фильмов ужасов, киноповествование оказывается нацеленным на раскрытие противоречий, связанных именно с социокультурными, а не биотическими проблемами обывателя. В списке наиболее упоминаемых голливудских киноработ на эту тему можно назвать: «Птицы» (англ.: «*The Birds*», реж. А. Хичкок, «Universal Pictures», США, 1963 г.), «Омен» (англ.: «*Omen*», реж. Р. Доннер, «20th Century Fox», США, 1976 г.), «Псы» (англ.: «*Dogs/Slaughter*», реж. Б. Бринкерхофф, «Bruce Cohn Productions» и др. США, 1976 г.), «Белая собака» (англ.: «*White Dog*», реж. С. Фуллер, «Paramount Pictures», США, 1982 г.), «Кладбище домашних животных» (англ.:

«*Pet Sematary*», реж. М. Ламберт, «Paramount Pictures» и др., США, 1989 г.), «Лучший друг человека» (англ.: «*Man's Best Friend*», реж. Дж. Лафия, «New Line Cinema» и др., США, 1993 г.), «Призрак и Тьма» (англ.: «*The Ghost and the Darkness*», реж. С. Хопкинс, «Constellation Entertainment» и др. США, 1996 г.), «Атомный пес» (англ.: «*Atomic Dog*», реж. Б. Тренчард-Смит, «Wilshire Court Productions» и др., США, 1997 г.), «Крысы» (англ.: «*The Rats*», реж. Дж. Лафия, «Twentieth Century Fox Film» и др., США, 2002 г.), «Ротвейлер» (англ.: «*Rottweiler*», реж. Б. Юзна, «Filmax» и др., США, 2004 г.), «Голоса» (англ.: «*The Voices*», реж. М. Сатрапи, «Lionsgate» США, 2014 г.).

Кошмарные явления животных в американских фильмах ужасов не только всякий раз актуализируют достаточно значимый для современной цивилизации конфликт с природой, но и привлекают внимание к опасности рокового замещения естественных пространств типичными городскими топосами или, и того хуже, производственными ландшафтами. К этому острейшему чувству пространственного дисбаланса добавляется комплекс ментальных и культурных конфликтов, связанных с катастрофическим отчуждением современного человека от естественной среды своего обитания. Однако обращает на себя внимание архетипическая специфика визуализации этих противоречий, поскольку практически все сюжеты, в которых появляются полчища насекомых, орды крыс или стаи птиц, демонстрируют некую внутреннюю близость нашего цивилизованного современника и преследующих его кинематографических монстров, что дополнительно создает пространство коллективной общности и «мощное чувство приумножения» [3, с. 210].

В этих ужасных голливудских образах просматривается глубинная символическая связь, позволяющая обывателю осознать острейшую необходимость естественной бессознательной реабилитации архаических представлений о взаимосвязи человеческого общества, животного и растительного миров, да и природы в целом. Традиционно установки подобного рода концентрировались в тотемизме, анимизме и фетишизме, которые не только наделяли субъектностью животных и всю природу, но и позволяли создавать и сакрализовывать единую картину мира, в которой каждый вид живых существ, независимо от его фенотипических признаков и места в трофической иерархии, выполнял особую священную миссию.

Поэтому голливудские художественные реконструкции массовых ужасных атак различных видов живых существ на человека являются бессознательным способом визуализации его предельного отчуждения как от внешней, так и от своей собственной природы. А мера агрессивности нападающих животных, их размер и численность выступают попыткой бессознательной компенсации степени трагичности разрушения эмоциональных связей человека и природы, экосистемы планеты, а также эрозии человеческой души и тела.

Визуализация индивидуализированного монстра

Традиционно голливудские киноповествования, основанные на визуализации таких противоречий, формируются в американских фильмах ужасов в двух сценариях. Во-первых, обыватель сталкивается с крупным и хищным, зооморфным, звероподобным монстром, соперничество с которым конструируется по привычным «субъект-субъектным» моделям человеческой коммуникации партнеров как минимум с равными биотическими статусами. Результатом такого «партнерства» по-американски обычно становится трагическое осознание слабости и неполноценности современного цивилизованного человека, которая с лихвой компенсируется применением технических средств уничтожения конкурирующих форм жизни – ядов, оружия, механизмов и машин.

Териоморфный Антигерой, вступая в ужасное единоборство с обывателем, «принципиально отрицает мещанскую топологию потребительского общества» [4, с. 87], всякий раз реанимирует первобытно-магические ритуалы, связанные с феноменом «нагуализма», который был подробно исследован Дэниелем Г. Бринтоном. Его основной посыл сводится к фиксации в архаических культурах особого типа связи между человеком и его индивидуальным тотемом-покровителем, выступающим ведущим фактором в процессах инициации и последующего становления сознания человека. «*Нагуаль* – это все, что лежит вне судьбы, вне запрограммированного жизненного маршрута. Это – Неведомое и зачастую Непостижимое. Именно этот аспект *нагуаля*, на наш взгляд, обуславливает его пугающий, и даже жестокий характер» [5].

Наиболее ярко такой тип визуализации впервые был применен американским кинематографом в фильме о злобной горилле невероятных размеров, которую аборигены называли Конгом.

«Кинг-Конг» (англ.: «*King Kong*» реж. М. Купер, Э. Шодсак, «RKO Radio Pictures Inc», США, 1933 г.). Популярность этого фильма была настолько ошеломляющей, что сразу было заметно – нужный идеологический сюжет был использован Голливудом точно в срок: сборы фильма превысили его бюджет в 3,7 раза. Тут же по горячим следам было создано и продолжение этой картины под названием «Сын Конга» (англ.: «*The Son Of Kong*», реж. Э. Шодсак, «RKO Radio Pictures Inc», США, 1933 г.), принесшее его создателям прибыль, превышающую вложения в 5,4 раза. Подобная кинематографическая модель более всего напоминает состязание героев в архаических мифологиях, предполагающее неременную победу коллективного, цивилизованного и технически вооруженного «Добра» над ужасным и диким, совершенно нецивилизованным и неуправляемым «Злом».

Показательно, что ремейки этого поистине классического сюжета оказались настолько популярными, что уже сами по себе составили целую эпоху в голливудской истории. Они выходили и в 60-е, и в 70-е годы, так ярко запомнившиеся тропическими постколониальными реваншами США в Корее и во Вьетнаме. Весьма значимо, что Голливуд вновь вернулся к этой благодатной, «пугающей» теме борьбы с диким гигантом лишь в 2005 г., когда возникла острая необходимость «перезагрузки» колониальной идеологии и апгрейда медийной риторики в связи с агрессией США в Ираке в 2003 г.

Именно поэтому очередной цикл перезапуска этой излюбленной темы непосредственно связан с необходимостью идеологической реанимации «героических будней» первой половины 70-х годов, времен агрессии американской армии во Вьетнаме. Тематика ленты «Кинг Конг: Остров Черепа» (англ.: «*Kong: Skull Island*», реж. Дж. Вот-Робертс, «Worner Bros.», США, 2017 г.) опять возвращается вокруг тропической темы, связанной с «чудесной» находкой американских летчиков времен Второй мировой войны, самолет которых потерпел крушение на острове в Тихом океане. Сборы от этого фильма превысили затраты в 3 раза, что неудивительно, поскольку подросло новое поколение американских зрителей, для которых срочно понадобилась голливудская героизация позорного провала армии США во Вьетнаме.

Выходу ленты непосредственно предшествовала коллективная агрессия бывших крупнейших метрополий мира: США, Великобритании, Франции, Канады и других стран против Сирии, а также дра-

матические события 2014–2017 гг. в Украине. Таким образом, для Голливуда также в полной мере характерна обнаруженная и описанная К. Г. Юнгом еще в 1930 году синхронистичность, обозначающая принцип бессознательного упорядочивания неких событий на основании существования общего для них пространства смыслов. В то же время, нельзя не заметить, что ужасные американские фильмы о гигантской горилле, свирепо защищающей «поля» исконных, коллективных сакральных смыслов в жестоких столкновениях с колониальной идеологией и практикой «белого человека», появляются с периодичностью примерно раз в тридцать лет. То есть, всякий раз, когда очередное поколение правящей верхушки США вновь осознает необходимость голливудской идеологической хоррор-мобилизации колониальных настроений у нового поколения обывателей в американском, а теперь уже и в мировом сообществе.

Визуализация коллективного монстра

Кроме того, значительное распространение в Голливуде получает и еще один, поистине ужасный, пробирающий до костей сценарий, в котором обычные американцы неожиданно для себя сталкиваются с лавиной териоморфных существ: насекомых, земноводных, пресмыкающихся и грызунов, заполняющих собой все доступное для обывателя жизненное пространство. Безусловно, следует согласиться с междисциплинарными по своей сути исследованиями Э. Канетти, обоснованно считавшего, что эти представители животного мира как правило, символизируют массовидные процессы, катастрофически обострившиеся за последние два столетия. «Большому единичному человеку противостояла огромная масса исчезающе *малых существ*. Важность этого представления нельзя недооценивать. Его выработке посвящены главные мифы в духовной истории человечества. Оно стало подлинной моделью динамики *власти*. Все, что ему противостоит, человек стал рассматривать как *тучу вредных тварей*. Так он воспринимал животных, от которых ему не было пользы, соответственно с ними и обходясь. *Властитель же, низведший* людей до уровня животных и научившийся господствовать над ними как низшими существами, низводил всех, кто не подпадал под его власть, до уровня насекомых, уничтожая их миллионами» [3, с. 389].

Как и в случае с индивидуализированными субъектами-монстрами, визуальный ряд голливудских хоррор-историй второго, «массового» эшелона неразрывно связывается с необходимостью усиленной бессознательной компенсации слабости либо полного отсутствия контактов индивида с природным и социальным окружением, столь характерного для индустриального и постиндустриального типов коммунитарности. Однако, в отличие от зооморфных, звероподобных монстров-одиночек, второй сценарий предполагает визуализацию бессознательной активности архаического коллективного субъекта, совокупно представленного миллионами ужасающих существ. Налицо явный вызов западному обывателю, который, по выражению Д. Рисмена, постоянно находится в состоянии «диффузной тревоги» [6, с. 25] и подобен радару, панически мониторящему социальную среду на предмет опасностей и угроз. Показательно, что вызов этот исходит со стороны природы как первичного коллективного субъекта, голливудская хоррор-драматургия которого в каждом новом фильме ужасов с участием масс опасных организмов представляет весь ужасный, кровавый и противоречивый опыт цивилизационного освоения/отчуждения жизни. Образы этих субъектов являются полноценными культурными символами, в которых преломляются многовековые человеческие фобии относительно животных, находящихся в основании либо на нижних по отношению к человеческому уровнях трофической пирамиды.

Леденящий ужас, вызываемый у «нормального» урбанизированного обывателя массами таких организмов, связан с угрозой частичной либо полной утраты социального (а вслед за ним даже и природного!) статуса, который становится единственным смыслом человеческой коммуникации, да и формальным репрезентантом всей цивилизации в целом. К тому же, эта символическая угроза не только связана с потерей основ индивидуальности, но реальными перспективами крушения и самой идеологии бессознательного, празддно-потребительского «modus vivendi», закрепленного в системе социальных норм и стереотипов. Кроме того, экстремальная степень эмоциональных реакций героев американских хоррор-фильмов этой тематической группы с головой выдает инстинктивное, но категорическое нежелание обывателей отрешиться от размеренных и предсказуемых доминант потребительских будней и

посвятить свою жизнь совместной, коллективной борьбе за выживание. Именно в таких моментах становится особенно заметно, что христианская цивилизация настолько преуспела в распространении идеологии смерти как индивидуальной трагедии, что подобные установки становятся единственно возможным объединяющим смыслом вообще всех «потерянных поколений» как таковых. И не удивительно, что «эти естественные в природной логике процессы для среднего обывателя воспринимаются как культурные знаки индивидуальной катастрофы» [7, с.96].

Так Эрих Ремарк в романе «Черный обелиск», посвященном описанию самой массовой для своего времени трагедии Первой мировой войны и последовавшему в 20–30-х годах XX века росту нацистских настроений в Германии, высказался на этот счет куда как откровенно: «Смерть одного человека – это смерть, смерть двух миллионов – только статистика» [8, с. 107]. В нашем же случае столь любимые голливудскими хоррор-режиссерами тучи агрессивных насекомых, ужасные полчища земноводных, пресмыкающихся и грызунов, которые «кажутся человеку наиболее чуждыми и пугающими (а значит, заслуживающими если не поклонения, то пристального внимания)» [9], всякий раз демонстрируют ущербность и обреченность цивилизованного человека, столь некстати утратившего базовые навыки коллективного бытия и совместного выживания. Именно эти экстремальные и пугающие голливудские образы всякий раз убеждают массового зрителя в «чудовищной» эффективности принципов социальной организации природных сообществ дочеловеческого типа по сравнению с моделью цивилизации, скомпонованной из территориально и профессионально организованных сообществ сингулярных особей. В этом смысле голливудский хоррор-кинематограф можно признать классическим идеологическим апологетом американской цивилизации, последовательно культивирующей индивидуализм, а вслед за ним и одиночество как подлинные идеалы культуры и социального прогресса.

К экологии киноагрессии

Голливудский ужасный кинематограф последовательно формирует и активно транслирует довольно неоднозначный символический контекст, для которого характерна практически неразрешимая дилемма. Она связана с тем, что сами животные, особен-

но «синантропные», позиционируют и себя, и человека в качестве неотъемлемых элементов единой природной системы. В отличие от человека, который лишь по одной своей прихоти (пренебрежения или незнания) исключает из природной иерархии те виды живых существ, которые кажутся ему нецелесообразными, бесполезными, несимпатичными, пугающими, агрессивными и т. д. Поэтому животные, постоянно появляющиеся в американских фильмах ужасов, непременно стремятся вступить во взаимодействие с людьми как элементы единой системы жизни. Как раз в этом смысле они повсеместно воплощают тот недостижимый для агрессивной сервильной цивилизации идеал «экологического мышления», полноценно представляя свой вид и присущий ему образ жизни в системе природы.

В то же время современные обыватели, безнадежно отравленные бациллами антропного эгоизма, который к тому же еще и сакрализован многовековыми христианскими установками, стремятся сами определять как подходящие для покорения и управления элементы природы, так и соответствующие потребительские сценарии коммуникации с ними. Весь ужас подобного положения состоит в том, что на практике именно «бездумные» и «ужасные» орды живых существ реализуют как между собой, так и в отношениях с людьми *биотический* принцип взаимодействия, тогда как цивилизованные во всех отношениях люди, всем своим образом жизни представляют *механический* принцип взаимодействия с окружающим миром. Стоит ли после этого удивляться, что единственным кинематографическим жанром, который может адекватно визуализировать и пропагандировать сценарии подобного механистического антропоэгоизма, базирующегося на совершенно ином, внеприродном типе целесообразности, стал именно американский хоррор-кинематограф?

Хтоническое очарование американских фильмов ужасов

По сути, природные оппоненты человека в фильмах ужасов выступают хтоническими существами, позднее вытесненными из культов небесных и солнечных богов. Будучи исконными символами мирового древа, такие создания позволяют понять ту часть мифологии и социокультурной практики, которая была неразрывно связана с их полноценным включением в пространство мировой

культуры. Показательно, что основная масса обнаруженных нами в американских фильмах ужасов видов живых существ, как правило, располагаются в нижней части мирового дерева. Что указывает на их фундирующий, структурообразующий смысл не только для архаической ментальности – в плане формирования мифологий, религий и идеологий, но и для всего социального устройства в целом. Именно эти создания полноценно представляют собой мир дикой природы, так и не включенной или жестоко изгнанной из пространства цивилизации. В то же время, как это ни парадоксально звучит, но как раз они символически «готовят» человека к полномасштабному заселению Земли, причем как непосредственно в физическом, так и в духовном плане. Поскольку презентуют наиболее архаичные пласты «победоносно» вытесненных цивилизацией коллективных представлений и архетипических образов пантеистических религий, неразрывно связанных с насущной проблемой осмысления роли природы и ее видового разнообразия в становлении и осуществлении полноценной жизни человека «в соответствии со сложившимися культурными обычаями, которые совместимы с требованиями сохранения или устойчивого использования» [10].

Настойчивое появление хтонических животных в американских фильмах ужасов, которые «словно являют собой пример существ нереальных, в обычном мире не существующих» [11, с. 73], всякий раз представляет собой непосредственный сценарий актуализации в современных массовых представлениях вертикальной, упорядоченной структуры бытия, которая в силу различных цивилизационных причин подвергается огульному и стремительному разрушению. Архетипически организуемый космос классической культуры постепенно разрушается, начиная как раз с верхних уровней мифологической иерархии. Символами этого разрушения является пророчество о смерти Бога и постепенное обезличивание Человека и Природы практически во всех формах их социального бытия.

Поэтому регулярные хтонические атаки, столь характерные для голливудской хоррор-традиции, более всего похожат на периодические отчаянные попытки бессознательной художественной реконструкции образов коллективной целостности и преемственности поколений. Как раз посредством этих ужасных реконструкций, зрители и общественность всякий раз получают возможность заново обратиться к необходимости ремифологизации космоса класси-

ческой культуры. Именно поэтому американские фильмы ужасов не только выполняют идеологическую миссию, но и выступают способом латентной трансляции традиционных культурных идеалов в пространство массовой культуры.

В то же время демонстрируемое в голливудских фильмах ужасов огромное количество нападающих на человека живых существ лишний раз указывает на дикость и принципиальную неподконтрольность этой части природы цивилизованному человечеству. Так, оценивая культурно-религиозные сценарии интерпретации этих явлений, профессор В. Г. Борохович отмечает, что в совокупности представлений людей о «хтонических богах нашли отражение смутные идеи о животворящих силах природы и земли – родоначальницы всего живущего и одновременно стихии, куда возвращается всё, закончив свой жизненный цикл» [12, с. 130]. Несомненно, что мощный эмоциональный заряд переживаний, сопровождающих зрителя при просмотре таких произведений, свидетельствует об особом статусе подобных смыслов в жизненном спектре современного обывателя. Так, сильнейшие нуминозные переживания, связанные с созерцанием неконтролируемого множества живых существ, безусловно, выражают символику архетипа «Матери». Но, поскольку провоцируемые ею экстремальные эмоции, связаны с «сумеречным» состоянием сознания, мы можем сделать вывод, что в подобных случаях речь идет как раз о «Великой Темной Матери», которая именно таким образом отчаянно пытается *скорректировать* цивилизационные девиации современного рационализованного, но, увы, по-прежнему бессознательного человека.

К тому же как раз на это недвусмысленно указывает и весь образно-символический контекст разворачивания сюжетов американских фильмов ужасов. Зритель чаще всего оказывается погруженным в ночь или сумерки, где массы «агрессоров», как правило, окрашены в темные или серые тона с размытыми и нечеткими деталями экстерьеры. Его до смерти пугают полумраком улиц, смутными очертаниями сооружений, нечеткими и вибрирующими контурами, казалось бы, привычных объектов – машин, деревьев, людей. Едва слышные, доносящиеся, словно из потустороннего мира звуки, призрачные колебания воздуха, мерцание света лишь дополняют этот мистический, намеренно иррациональный антураж, а весь саспес-хронотоп как раз и указывает на самое начало или толь-

ко возможность формирования образов, мыслей, представлений и сознания.

Выводы

Широкомасштабное использование образов низших мифологий в традиции американских фильмов ужасов, несомненно, создает образно-символические предпосылки формирования нерелексивных контекстов, гомогенной и синкретичной, сначала этнической, а затем и социальной, корпоративной среды. Ей присущи минимальная чувственность и мышление, а также универсальный коммуникативный язык, основанный на практически единственно возможном цивилизационном сублимате символической целостности – традиционном милитаристском принципе «свой-чужой». Именно подобные процессы фактически завершают идеологическое и мировоззренческое сплочение американской нации, старательно и последовательно отмежевывающейся сначала от европейской, а затем и иных цивилизаций и культурных традиций, вплоть до стремления окончательно уничтожить или поглотить их. Они же, за счет идеологических спекуляций и подмен в сфере архетипической и мифологической сюжетики, становятся основой «бешеной» популярности и коммерческой успешности голливудских хоррор-проектов. Все это создает условия для латентной эрозии этнических мифологий, культурных традиций и мировоззрений, спекающихся в плавильном тигле массовой культуры, сформированной по американскому, постколониальному типу. В подобной ситуации любое явление или событие, так или иначе не относящееся собственно к истории и цивилизационной практике США, воспринимается как дикое, а потому несущее хтоническую угрозу не только авторитету государства и его национальной безопасности, но и каждому отдельному индивиду, представляющему американский образ жизни. Таким образом, роль голливудской хоррор-культуры в формировании, повсеместной трансляции идеологии конфликта и исключительности, а также в становлении высших геополитических амбиций США в отношении всего мира как пространства формирования и доминирования «низших», по сравнению с американской, культурных традиций вообще сложно переоценить.

Библиографический список

1. Бауман З., Донскис Л. Моральная слепота. Утрата чувствительности в эпоху текучей современности. СПб.: ИД Ивана Лимбаха, 2019. 368 с. URL: <https://theoryandpractice.ru/posts/17363-boyus-sledovatelno-sushchestvuyu-pochemu-my-ni-v-chem-ne-uvereny-i-kak-strakh-stal-politicheskim-tovarem> (дата обращения: 10.11.2019).
2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Издательство Московской Патриархии, 2010. 1376 с. URL: <https://old.bible-online.ru/bible/rus/02/10/> (дата обращения: 10.11.2019).
3. Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997. 528 с.
4. Маленко С. А. От «Final Girl» к единственной Великой Матери: Голливудский хоррор и стратегии постгуманизма // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 35. С. 87–96.
5. Бринтон Д. Г. Нагуализм. Исследование фольклора и истории американских индейцев / пер. с англ. Г.Х. Евтушенко; вступ. ст. А. Ксендзюка, О. Ксендзюк. М.: Постум, 2008. 151 с. URL: <https://e-libra.ru/read/233252-nagualizm.html> (дата обращения: 01.11.2019)
6. Riesman D. The Lonely Crowd. New York: Yale University, 1961. 440 p.
7. Некита А. Г. Нутро и Поверхность: к феноменологии телесности в американском фильме ужасов // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 35. С. 96–105.
8. Ремарк Э. М. Черный обелиск. М.: АСТ, 2014. 416 с.
9. Галина М. Фантастика глазами биолога. Липецк: Крот, 2008. 38 с. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=262547&p=1> (дата обращения: 10.11.2019)
10. Конвенция о биологическом разнообразии // ООН. Официальный сайт URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml (дата обращения: 20.11.2019)
11. Ионов А. Ю. Жанровые особенности американского фильма ужасов 1990–2000-х гг.: дисс. ... канд. искусствоведения. М., 2017. 205 с.
12. Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1972. 216 с.

References

1. Bauman Z., Donskis L. *Moral'naya slepota. Utrata chuvstitel'nosti v epohu tekuchej sovremennosti* [Moral blindness. Loss of sensuality in the era of fluid modernity]. St. Petersburg: Ivan Limbah Publ., 2019. 368 p. Available at: <https://theoryandpractice.ru/posts/17363-boyus-sledovatelno-sushchestvuyu-pochemu-my-ni-v-chem-ne-uvereny-i-kak-strakh-stal-politicheskim-tovarem> (accessed: 10.11.2019) (In Russ.)

2. *Bibliya. Knigi Svyashchennogo Pisaniya Vethogo i Novogo Zaveta* [Bible. The Holy Scriptures of the old and New Testament]. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskoj Patriarii, 2010. 1376 p. Available at: <https://old.bibleonline.ru/bible/rus/02/10/> (accessed: 10.11.2019) (In Russ.)
3. Kanetti E. *Massa i vlast'* [Mass and power]. Moscow, Ad Marginem Publ., 1997, 528 p. (In Russ.)
4. Malenko S. A. Ot «Final Girl» k edinstvennoj Velikoj Materi: Gollivudskij horror i strategii postgumanizma [From the "Final Girl" to a single Great Mother: Hollywood horror and the strategy of post-humanism]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie*. 2019, no 35, pp. 87–96. (In Russ.)
5. Brinton D. G. *Nagualizm. Issledovanie fol'klora i istorii amerikanskikh indejcev* [Nagualism. Study of American Indian folklore and history] / per. s angl. G. H. Evtushenko; vstup. st. A. Ksendzyuka, O. Ksendzyuk. Moscow, Postum Publ., 2008. 151 p. Available at: <https://e-libra.ru/read/233252-nagualizm.html> (accessed: 01.11.2019) (In Russ.)
6. Riesman D. *The Lonely Crowd*. New York: Yale University Publ., 1961. 440 p.
7. Nekita A. G. Nutro i Poverhnost': k fenomenologii telesnosti v amerikanskom fil'me uzhasov [Insides & Surface: to the phenomenology of physicality in the american horror film]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie*, 2019, no 35, pp. 96–105. (In Russ.)
8. Remark E. M. *Chernyj obelisk* [Black obelisk]. Moscow, AST Publ., 2014, 416 p. (In Russ.)
9. Galina M. *Fantastika glazami biologa* [Fiction through the eyes of a biologist]. Lipeck: Krot Publ., 2008. 38 p. Available at: <https://www.litmir.me/br/?b=262547&p=1> (accessed: 10.11.2019) (In Russ.)
10. *Konvenciya o biologicheskom raznoobrazii* [Convention on biological diversity]. *OON. Oficial'nyj sayt* Available at: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml (accessed: 20.11.2019) (In Russ.)
11. Ionov A. Yu. *Zhanrovyje osobennosti amerikanskogo fil'ma uzhasov 1990–2000-h gg.* [Genre features of the American horror film 1990–2000-ies]: diss. ... kand. iskusstvovedeniya. Moscow, 2017, 205 p. (In Russ.)
12. Apollodor. *Mifologicheskaya biblioteka* [Mythological library]. Leningrad, Nauka Publ., Leningradskoe otdelenie, 1972, 216 p. (In Russ.)

Emiliana Mangone
University of Salerno, Italy

The “Words” to Represent the Migrants in the Mediterranean. The Case Study of an Italian Newspaper

Social representations of “diversity” appear to be mainly influenced by the information conveyed by the mass media in their dual role as mediators of reality and opinion leaders, often becoming a “distorted reflection” of reality. News about arrivals of migrants in the Mediterranean, as well as violent or terrorist events, can be a few examples through which the public opinion constructs a specific image of the Other. At the same time, using words such as illegal immigrant, refugee, emigrant, may help in reinforcing an image able to reduce socio-cultural distances – or, conversely, to expand them. In this sense, public opinion will tend to juxtapose their own frames of interpretation to those proposed by the media, re-building a specific kind of reality filtered by the media. In support of the above, this paper aims at introducing a proposal for the development of a vocabulary of [the] media based on an analysis of the words used by some of the most popular Italian newspapers to represent the Other: the frequency and use of the words in news headlines can illustrate, by way of example, how the media, in some cases, are instruments able to spread among the public stereotypes and attitudes that can in turn lead to a narrowing and / or opening of relations towards the Other.

Keywords: MassMedia, Mediterranean, Migrations, Others, Social representations.

Эмилиана Мангоне
Университет Салерно, Италия

«Слова», используемые для представления мигрантов в Средиземноморье. Тематическое исследование итальянской газеты

Социальные представления о «многообразии», как представляется, в основном формируются под влиянием средств массовой информации, выступающих в двойной роли как посредников между населением и реальностью и как лидеров общественного мнения, зачастую дающих «искаженное отражение» реальности. Новости о прибытии мигрантов в Средиземноморье, о фактах насилия и террора могут служить примерами, с помощью которых общественное мнение создает специфический образ Другого.

го. В то же время использование таких слов, как нелегальный иммигрант, беженец, эмигрант, может помочь в укреплении образа, способного сократить социально-культурную дистанцию или, наоборот, увеличить ее. В этом смысле общественное мнение будет стремиться к сопоставлению своих собственных фреймов интерпретации с теми, которые предлагают СМИ, восстанавливая конкретную реальность, отфильтрованную СМИ. В подтверждение вышеизложенного данная статья ставит целью предложить проект по разработке словаря СМИ на основе анализа слов, используемых некоторыми из наиболее популярных итальянских газет для представления Другого. Использование слов в новостных заголовках и их частота могут служить примером того, каким образом средства массовой информации в некоторых случаях распространяют в обществе определенные стереотипы и установки, которые, в свою очередь, приводят к ограничению и/или расширению контактов с Другим.

Ключевые слова: *СМИ, Средиземноморье, миграция, Другие, социальные репрезентации.*

Words matter in the migration debate.

*Rob McNeil (Migration Observatory,
University of Oxford)*

1. The representations of migrants and the role of media “frames”

Attitudes towards others depend to a great extent on the idea that one holds about them, on the interpretations of their past and present actions, and on the predictions of what they will do in the future (Berger and Luckmann, 1966). Attitudes (positive or negative orientation) towards something or someone are guided by our perception of them (Mangone and Marsico, 2011): social reality springs not only from social meaning, but also from the products of the subjective world of individuals. When an individual or group charges another individual or group with the responsibility for their critical situation and/or suffering, it leads to the attribution of a mistaken fault to a person or group identified as an *enemy* (Girard, 1987). The ascription of responsibilities suggests solutions to social problems, while the rules determining the truthfulness of the explanations can work to either contain or increase violence and/or to control the social order.

The latter aspect is particularly important if one considers the media's ability to suggest to the public the social representations on which they base and remodel their social interactions and actions. A concrete

example are the news stories with immigrants as protagonists (the problem of immigration has been in the agendas of European politicians and of those from the Mediterranean basin for some years) that act as sounding board for some social issues concerning crime and the protection of citizens' well-being.

The media might convey images and information able to reduce socio-cultural distances, or, conversely, expand them by reproducing representations that reinforce people's opposition to immigrants. Migrants are seen through different lenses also depending on various factors, including the proximity to the phenomenon (the problem of migration is dealt with differently in southern European countries than in continental or Nordic ones): they are "clandestini" [irregular migrants], "profughi"¹ [evacuees], "rifugiati" [refugees], and "delinquent" [delinquents].

The twofold way in which people "look" at immigrants can be influenced by how the news is presented, by the type of language the media chooses to construct and represent an event, and by the interpretations provided to the public. These may reproduce stereotyped images of otherness, or provide extreme generalizations. Immigrants are at times the authors of criminal acts, at times protagonists of vicissitudes with dramatic implications. However, this dichotomy of interpretation can be associated with the different "positions" adopted by the media when dealing with and presenting a story to their target audience.

This line of reasoning implies the role of the "frame" or context – *frame space* (Goffman, 1981) – within which the communicative event takes place. Broadly, the frame represents the social environment within which are performed both the communicative practice and the interpretation of what is transmitted, with the relative construction of meaning. It is a socially defined reality (itself resulting from a previous modified situation) and its level of control cannot be determined in advance due

¹ There is no official translation for the Italian term "profugo" [evacuee]. In everyday speech and language, it is normally translated as *refugee* or *displaced person*. However, none of these conveys the precise aura of meaning associated with the word "profugo" [evacuee], at least in the Italian context. This is particularly true for *refugee*, which in Italian is the adjectivization of a past participle ("rifugiato" [refugee]) and as such brings with it the idea of a completed action, of someone who, more or less, has found and reached his or her final destination. On the contrary, "profugo" [evacuee] conveys the idea of an ongoing movement, an uninterrupted flight or escape. We thus chose to employ a term that, to the best of our abilities, could convey both the idea of movement and that of *force majeure*.

to multiple causes (coexistence of transmitters/receivers, multiplicity of transmitters and receivers, interpretation and/or representation, problems of experience and knowledge). In the context of mass communications, the *frame* sometimes refers to the media's power of *agenda setting*, to the simple thematization, or to the ideological framework (Bruno, 2014); other times the *frame* refers to how the information is presented, the media's chosen point of view.

On the issue of news and the media, Tuchman's definition (1978) is particularly interesting: the *frame* is understood as a *window on the world*, through which people have the opportunity to learn about themselves and others, about the lifestyles of other nations and societies populations¹. The media represent this opening that allows to see the reality outside. However, what is seen is a portion of reality: what is delimited by the frame itself. The concept of window allows for various conceptual interpretations. What matters, however, is the role of negotiator of meanings ascribed to the public, especially as far as media content is concerned. The *framing effect* introduces a psycho-social perspective according to which people change their own judgments (and attitudes) when a theme is presented within the given frame. This not only prompts people to deal with that specific theme, but it also changes their attitudes. Iyengar and Kinder (1987) define *framing effects* as changes in judgments generated by subtle alterations in the definition of a judgment or in the choice of problems: an almost persuasive outcome affecting the various publics of the news. The *frame* is therefore well suited to discuss the public's ability to re-create images of reality based on media-filtered content: a two-ways process where people are "stimulated" by mass-media information. The media may promote prejudiced attitudes towards the *Others* (in our case, the immigrants), by means of stereotyped representations, affecting social representations of alterity that are constructed also in personal interactions, in the working environment or in the peers' group.

The media can help bringing together and/or pushing apart different cultural universes. Therefore, if it is true that the perception of the *Other* may appear distant and, similarly, that the news can shorten this distance, it is also true that *frames*, by delimiting a specific image of reality, can impose a careful organization of the concepts and themes in it,

¹ For the sake of completeness, we provide Tuchman's full definition: "Through this frame, Americans learn of themselves and others, of their own institutions, leaders, and life styles, and of those of other nations and societies" (1978, p. 1).

which, in turn, from a macro perspective, define the *worldviews* where the narratives are set. Consequently, the issue is connected to the idea of culture and hence of potentially pre-existing cultural frames that are stimulated and activated (Bruno, 2014). The *framing* process thus consists of the emergence of these sets of meanings, through references and cultural *resonances* (Gamson, 1992). On this basis, the cultural dimension is an important element in the process of production of meanings. The *frame* is thus a multidimensional concept that can be described as the set of verbal, visual, and symbolic contents that are reorganized within a text and constitute a significant moment in the construction of meaning (Reese, 2003).

2. The “names of the others”. A lexical analysis of the last thirty years on *la Repubblica*’s pages

Social changes can also contribute to cause deep transformations in a language lexicon. For example, in some cases the change is linked to the emergence of a new social sensitivity, a theme or problem that is brought to the attention of the public in such a way as to help shape the forms and ways of looking at things. Although the reference object remains unchanged, the vocabulary may transform, suggesting new perspectives of meaning. Among the many possible examples, we will mention the change in the lexicon used for people with difficulties: in the Italian context, this marked the passage from *handicapped person*, to *disabled person*, and finally to *differently abled person*.

It is also true, however, that lexical changes often translate into a mere rhetorical exercise (*politically correct* language) unable to take root in social reality, without transforming the way in which people relate to other people or things. In the case of immigration, it is still unclear whether the lexical variations that characterize the way of representing the subject are ascribable to a real change of attitude (or opinion) from people, or to mere fashion trends. In other words, the names attributed to those who come to Italy with disparate improvised, makeshift vehicles in the hope of improving their living conditions are as yet uncertain and unsettled: from the more neutral “immigrati” [immigrants] to “extra-comunitari” [non-EU migrants], from “clandestine” [irregular migrants] to “migrant” [migrants], “profughi” [evacuee], “refugees” [rifugiati], and “richiedenti asilo” [asylum-seekers].

Starting with the official English definitions proposed by the European Union (Appendix A), that find their equivalent in Italian (though many of them remain untranslatable), we carried out a cross-examination of the five most popular dictionaries in Italy through a research by semantic area, that is, through words or groups of words whose meanings are closely related. It was thus possible to identify, within the immigration theme, those words that define its “protagonists”, which also match with those listed in Daniela Pompei’s book (2013), *Le parole dell’immigrazione* [*The Words of Immigration*].

The research has taken into account the frequency of occurrence of each term in the last decade of the last century (from 1990 to 1999) and the first twenty years of third Millennium (from 2000 to 2019) in the articles of the daily newspaper *la Repubblica*¹. We selected the sample of articles through a keyword search that added a people-related “category” to the main “theme” of *immigration*. The results thus take into account the number of articles in which the newspaper deals with the issue of immigration and use a “category” (and therefore a name) to identify a particular group of people. To this end, each category has been inserted in the plural, so as to exclude individual cases and stories related to personal experiences and to represent, as far as possible, the whole phenomenon.

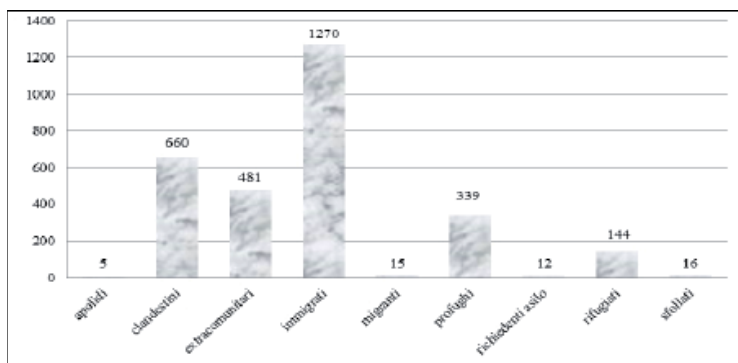
Based on the above, we have included the following keywords: immigration / “apolidi” [stateless persons]; immigration / “clandestini” [irregular migrants]; immigration / “extracomunitari” [non-EU migrants]; immigration / “immigrati” [immigrants]; immigration / “migrant” [migrants]²; immigration / “profughi” [evacuee]; immigration / “richiedenti asilo” [asylum-seekers]; immigration / “rifugiati” [refugees]; immigration / “sfollati” [displaced persons].

The results allowed us to observe the variations in the use of the categories by the daily newspaper in three ten-year long groups.

¹ The choice of the newspaper is motivated by the following reasons: *la Repubblica* is one of the most read newspapers in Italy, it has a free consultation archive, and its site is the most popular among national newspapers. See <https://it.semrush.com/blog/quali-sono-siti-notizie-piu-visitati-in-italia-ricerca-semrush/> (retrieved on January 6, 2020).

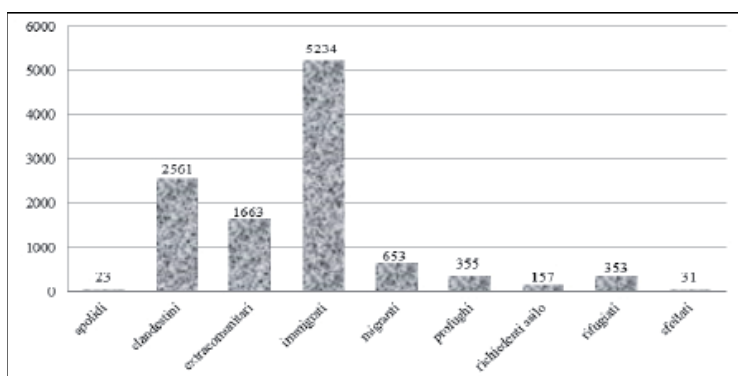
² Following our cross-research on Italian dictionaries, we excluded the term *emigrant* as it is a synonym of *migrant* and less used than the latter in everyday language.

Chart 1 – *la Repubblica* from 1 January 1990 to 31 December 1999



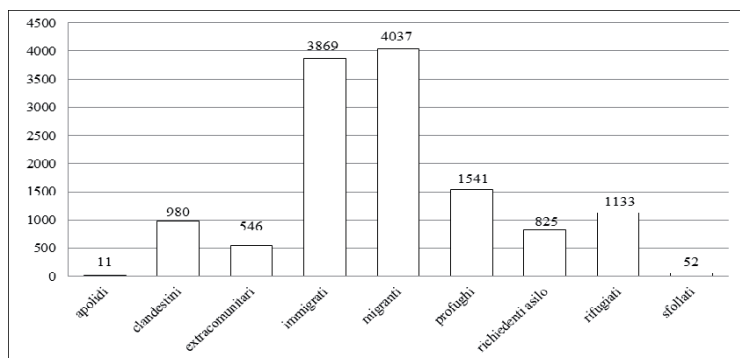
The chart 1 shows that *immigrants* is the most used word in the newspaper with 1,270 articles; followed by *irregular migrants* (660), *non-EU migrants* (481) and *evacuees* (339). Values above 100 are also found for *refugees* (144). Interestingly, *migrants* registers very low values, with just 15 articles.

Chart 2 – *la Repubblica* from 1 January 2000 to 31 December 2009



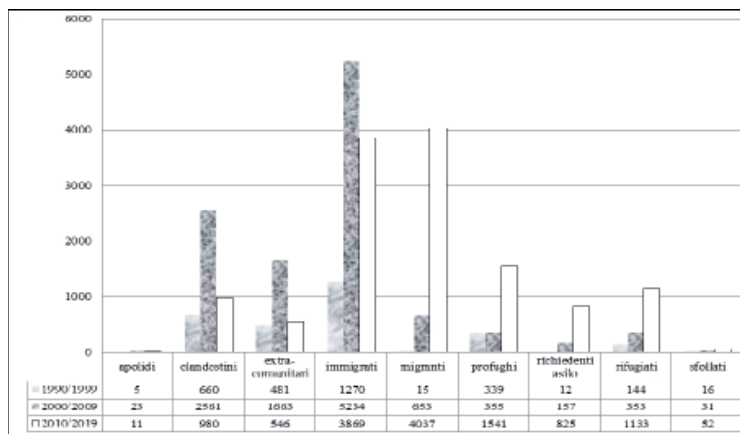
In this decade (Chart 2), *immigrants* again registers the highest absolute value: 5,234 articles. As in the previous chart, *irregular migrants* and *non-EU migrants* confirm consistent numbers, as well as *evacuees* (355) and *refugees* (353). In recent years, the use of *migrants* (653) and *asylum-seekers* (157) has also increased.

Chart 3 – *la Repubblica* from 1 January 2010 to 31 December 2019



In the latter chart, the most widely used categories are *immigrants* and *migrants*, along with *irregular migrants* and *evacuees*; the use of *refugees* increases (1133) over *non-EU migrants*. With regard, instead, to *stateless persons* and *displaced persons* it seems that both terms have not been particularly successful in everyday language.

Chart 4 – Comparison between three “decades” (1990–2019)



The comparison of the charts shows that *la Repubblica* addresses the issue of immigration much more in recent years. In addition, the lexicon of this newspaper can highlight some key aspects. Firstly, *stateless persons* and *displaced persons* have a lower frequency than the other categories, thus

showing that these terms have not been successfully introduced. Terms like *irregular migrants* and *non-EU migrants* show the highest peak from 2000 to 2009, then decrease in the last decade. As for *evacuees*, *asylum-seekers*, and *refugees*, these terms have been steadily increasing in use over the years. The term *migrants* is particularly interesting: while in the decade 1990/1999 it recorded one of the lowest frequencies, its use has considerably increased in the last twenty years. In any case, *immigrant* remains the category most used in the last thirty years. An interesting aspect that may be representative of the immigration phenomenon concerns the variation of use of categories. If between 2000 and 2009 *la Repubblica* portrayed immigration by associating *irregular migrant*, *non-EU migrant*, and *immigrants* over the years it has gone to a wider and more “neutral” terminology such as *migrants*. It is equally true, however, that there is a difference of meaning between the two categories. According to the Glossary of the European Commission on Migration and Internal Affairs (Appendix B), indeed, *migrant* (and hence, migrant status) indicates when someone moves (voluntarily or forcibly) from his or her country of origin to settle in another. However, in the same Glossary, *migrant* also refers to people who “move” for reasons related to their profession (*migrant workers*). *Migrants* are, therefore, those who are in continuous movement, a status and a condition that suggests a constantly evolving action and which, as in the case of migrant workers, may lead us to assume a steady, uninterrupted link with their country of origin. In the Glossary, *immigrant* indicates someone who has abandoned his/her country of origin to settle permanently in another country. However, although these terms are often commonly used as synonyms, not only their meanings are differently nuanced, but they are also further distinguished by the *time factor* related to the length of the migrant’s presence in a given country. Hence, the *migrant* becomes *immigrant* when his/her permanence becomes stable and lasting (Pompei, 2013). Alongside more generic and “neutral” categories, there are categories that can arouse positive and/or negative feelings. It is the case of the category of *irregular immigrant* that, despite having seen a noticeable decline in use in the last ten years by the newspaper, is still considered in Italy – and, as we will see later on, abroad – “politically incorrect”. For example, an open letter¹ urges journalists and, more generally, the media to use the expression *non-regular migrant* instead of *irregular migrant*, as the latter is considered “incorrect”

¹ <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/02/08/perche-va-cancellata-la-parola-clandestino27.html>

and suggesting an *a priori* negative judgment of those who entered a country through unofficial ways¹. This step might also suggest a different *frame*; so, if *irregular migrant* refers to a *frame* within which the *Other* is seen as an *intruder*, *refugees* and *asylum-seekers* suggest a more “solidarity-oriented” view within which the *Other* appears to be a *victim* (Van Gorp, 2005).

Conclusions

The results so far allow us to advance some considerations. First of all, the narrative modes and the use of some categories (and words) with which the media address the issue of immigration and its protagonists appears, in some respects, to have changed over time, especially for what concerns specific names identifying the *Others*. However, we cannot state with certainty whether this change in language corresponds to a real (or partial) change in the point of view on the immigration phenomenon and on its protagonists. It is indisputable that, as some reports and studies (Lai-Momo and IDOS, 2012) show, Italian media have, since the 1990s, addressed the issue of immigration from the point of view of the *emergency*, often pairing *immigration* with *safety*. This highlighted a generalist and somewhat reduced perspective on migrant-related information, often tainted by scaremongering, superficiality, and stereotypes. At the same time, the *Ricerca Nazionale su immigrazione e asilo nei media italiani* (Morcellini, 2009) highlighted how most of the news (over 50%) talked about migrants in articles related to blackmail or court records, 34% of them concerned immigration law debates, 5.3% reported landing news, and finally 7.9% was related to immigration issues. This shows that although the use of words and categories may change over time, mass media’s narrative modes and *frames* may instead remain unchanged.

The linguistic choices and representative modes of immigration seem to have raised interest also by the foreign media. The BBC News Magazine (Ruz, 2015) draws attention to the British media’s use of some terms when dealing with immigration issues: the article reports a research conducted in July through the Nexis database, from which *refugee* emerged as the

¹ The original Italian terms were, respectively *clandestino e migrante non regolare*. In the present paper, we chose to translate the former with *irregular migrant* instead of, for example, *illegal migrant*, precisely for the reasons here adduced: the different “frames” suggested by the two terms. In the Italian language, the word *clandestino* has a particularly strong negative aura of meaning – consider that one of its possible translations is *stowaway*.

most used category in British newspapers (excluding *The Times*, *The Sun* and the *Financial Times*) with 2541 occurrences. As for the use of *asylum-seeker* in British newspapers, it emerged that between 2010 and 2012 the word most frequently associated with it was *failed*. The same argument, as in the case of Italy, concerns the use of *irregular migrants* instead of *illegal migrants*: according to a study by the Oxford University Migration Observatory on a sample of 58,000 articles, the term *illegal* emerged as the most used to describe immigrants. The proposal, in the English version, was *irregular*, or, *undocumented migrant*. The same argument was raised also in the United States when in 2013 the *Associated Press* and the *Los Angeles Times* abolished the expression *illegal immigrant* to identify a person without a valid residence permit. Journalists were urged to specify, when possible, the ways in which people entered the country illegally and from which part of the world they came, paying particular attention to the status of children. The announcement reads: “*People who were brought into the country as children should not be described as having immigrated illegally. For people granted a temporary right to remain in the U.S. under the Deferred Action for Childhood Arrivals program, use temporary resident status, with details on the program lower in the story*” (Colford, 2013).

The word *illegal* referring to migrants would, in fact, suggests an *a priori* negative judgment of a status and a condition whose nature is often ignored. Migrants, for example, may be waiting for their asylum application to be accepted – and thus becoming “regular”, despite the irregularity of their entry into the country.

The linguistic component is therefore intrinsic in the construction of *media frames*, since, as we have seen, language is important in defining them as frameworks of meaning for reality, because words drag people into their worldview (Lakoff, 2004). The various representations and stereotypes on the concept of *otherness* are therefore considered cultural products that mediate the relationship between people and reality, whereby the vision of reality and the very practical experience are formed within contexts transmitted by culture that is strictly connected to communication, both as information transmitted by the media and as a *popular culture* (Bruno, 2008).

References

Berger, P.L. & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Doubleday & Co.

Bruno, M. (2008). *L'islam immaginato. Rappresentazioni e stereotipi nei media italiani*. Milan: Guerini e Associati.

Bruno, M. (2014). *Cornici di realtà. Il frame e l'analisi dell'informazione*. Milan: Guerini e Associati.

Colford, P. (2013, April 2). 'Illegal immigrant' no more. *AP-Associated Press*. Available at website: <https://blog.ap.org/announcements/illegal-immigrant-no-more> (Retrieved on March 29, 2017).

De Mauro, T. (2007). *GRADIT. Grande Dizionario dell'uso*. Turin: Utet.

Devoto, G. & Oli, G. (2012). *Vocabolario della Lingua Italiana*. Florence: Le Monnier.

Gamson, W.A. (1992). *Talking politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Garzanti (2016). *Italiano*. Milan: Garzanti Linguistica.

Girard, R. (1982). *Le bouc émissaire*. Paris : Éditions Grasset & Fasquelle.

Goffman, E. (1981). *Forms of Talk*. Philadelphia: The University Pennsylvania Press.

Iyengar, S. & Kinder, D. R. (1987). *News that matters: Television and American opinion*. Chicago: The University of Chicago Press.

Lai-momo & Idos (eds.) (2012). *Comunicare l'immigrazione. Guida pratica per gli operatori dell'informazione*. Rastigliano: Tipografia Litosei.

Lakoff, G. (2004). *Don't think of an elephant! : know your values and frame the debate*. White River junction: Chelsea Green Publishing Company.

Mangone, E. & Marsico, G. (2011). Social Representations and Valorial Orientations: The Immigrants Case. *Memorandum*, 20, pp. 211–224.

Morcellini M. (ed.) (2009). *Sintesi del rapporto di ricerca. Ricerca Nazionale su immigrazione e asilo nei media italiani*. Rome: Sapienza University of Rome.

Pompei, D. (2013). *Le parole dell'immigrazione*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.

Reese, S.D. (2003). Prologue – Framing public life: a bridging model for media research. In S.D. Reese, O.H. Gandy & A.E. Grant (eds.), *Framing public life: perspectives on media and our understanding of social world* (pp. 7–31). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Ruz C. (2015, August 28). The battle over the words used to describe migrants. *BBC News Magazine*. Available at website: <http://www.bbc.com/news/magazine-34061097> (Retrieved on March 29, 2017).

Sabatini, F. & Coletti, V. (2015). *Dizionario della Lingua Italiana*. Florence: Giunti.

Tuchman, G. (1978). *Making news: a study in the construction of reality*. New York: The Free Press.

Van Gorp, B. (2005). Where is the frame? Victims and intruders in the Belgian press coverage of the asylum issue. *European Journal of Communication*, 20, pp. 485–508.

Zingarelli (2017). *Vocabolario della Lingua Italiana*. Bologna: Zanichelli.

Appendix A

Categories and definitions in comparison between Italian dictionaries¹ and the Glossary of the European Commission on Migration and Home Affairs²

Italian	English
<i>Apolide</i> Si dice di chi non ha cittadinanza in nessuno Stato.	<i>Stateless person</i> Person who is not considered as a national by any State under the operation of its law.
<i>Clandestino</i> Chi è entrato e vive in un paese illegalmente, senza regolare permesso di soggiorno.	<i>Irregular migrant</i> People who enter a country, usually in search of employment, without the necessary documents and permits.
<i>Emigrante</i> Chi si è trasferito dal luogo o stato d'origine in un altro luogo o stato.	
<i>Extracomunitario</i> Si dice di cittadino di un paese non appartenente all'Unione Europea. Nell'uso comune, si dice in particolare di cittadini di un paese terzo o quarto mondo.	<i>Non-EU migrant</i> A non-EU national entering (or within) the EU.
<i>Immigrato</i> Chi immigra in un paese o in una regione, per lo più per cercare lavoro.	<i>Immigrant</i> A person undertaking an immigration.
<i>Migrante</i> Chi si sposta per un lungo periodo da un paese a un altro, essendo emigrato dall'uno, e immigrato nell'altro.	<i>Migrant</i> A broader-term of an immigrant and emigrant, referring to a person who leaves one country or region to settle in another, often in search of a better life.

¹ The dictionaries used are: GRADIT-Grande Dizionario della Lingua Italiana (de Mauro, 2007); Devoto-Oli (2012); Garzanti (2016); Zingarelli (2017); and Sabatini-Coletti (2015).

² Key Migration Terms of International Organization for Migration <http://www.iom.int/key-migration-terms>; European Commission Glossary (Migration and Home Affairs) https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/v_en (retrieved on January 6, 2020).

<i>Profugo</i> Chi è costretto ad abbandonare il proprio paese in seguito a calamità naturali, a eventi militari, a persecuzioni politiche.	
<i>Richiedente asilo</i> È un qualsiasi cittadino che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva.	<i>Asylum seeker</i> A non-EU national or a stateless person who has made an application for asylum in respect of which a final decision has not yet been taken.
<i>Rifugiato</i> Chi ha dovuto abbandonare il proprio paese per rifugiarsi in un altro paese.	<i>Refugee</i> A person who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership of a particular social group, is outside the country of his/her nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail him-/herself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his/her former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.
<i>Sfollati</i> Persone che a seguito di persecuzioni, conflitti armati o violenze, sono costretti ad abbandonare le loro case e ad andar via dal loro domicilio abituale, ma che rimangono entro il confine del loro paese, e quindi, sono soggetti alla sovranità dello Stato di cui sono cittadini.	<i>Displaced person</i> Non-EU nationals or stateless persons who have had to leave their country or region of origin or have been evacuated, in particular in response to an appeal by international organisations, and are unable to return in safe and durable conditions because of the situation prevailing in that country, who may fall within the scope of Article 1A of the Geneva Convention or other international or national instruments giving international protection, in particular: - persons who have fled areas of armed conflict or endemic violence, - persons at serious risk of, or who have been the victims of, systematic or generalised violations of their human rights.

Appendix B

Other categories according to the *Glossary of Migration and Home Affairs*

<i>Border resident</i> Non-EU national who has been lawfully resident in the border area of a country neighbouring a Schengen State for a period specified in a bilateral Agreement between a Schengen State(s) and a neighbouring non-EU country, which shall be at least one year.
<i>Diaspora</i> Individuals and members or networks, associations and communities, who have left their country of origin, but maintain links with their homelands.
<i>Long-term resident</i> Any non-EU national who has long-term resident status as provided for under Directive 2003/109/EC.
<i>Migrant worker</i> A person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.
<i>Returnee</i> A non-EU national migrant who moves to a country of return, whether voluntary or forced.
<i>Undocumented person</i> A non-national who enters or stays in a country without the appropriate documentation. This includes, among others, a person: - who has no legal documentation to enter a country but manages to enter clandestinely, - who enters or stays using fraudulent documentation, - who, after entering using legal documentation, has stayed beyond the time authorised or otherwise violated the terms of entry and remained without authorisation.

В. А. Смирнов

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,
г. Великий Новгород

Исторические аспекты реализации «мягкой силы» в контексте стратегии социокультурного управления

Актуальность исследования предопределена той научной популярностью, которую в последнее время приобрела концепция «мягкой силы», являющейся наиболее эффективным способом властвования в современную эпоху. В статье проводятся параллели между теорией «мягкой силы» Дж. Ная и концепцией гегемонии Грамши. Рассмотрена историческая эволюция инструментов аппликации «мягкой силы», а также дается краткий исторический анализ использования «мягкой силы» в политике.

Ключевые слова: мягкая сила власти, конструктивизм, культурная политика, матрицы убеждений, символические универсумы, культурная и политическая гегемония, рычаги социокультурного влияния.

V. A. Smirnov

Novgorod state University named after Yaroslav the Wise, Novgorod

Historical Aspects of Soft Power Implementation in the Context of The Strategy Socio-Cultural Management

The relevance of the study is predetermined by the scientific popularity that has recently acquired the concept of “soft power”, which is the most effective way of ruling in the modern era. In the article Parallels between the theory of soft power, J. Nye and the concept of hegemony of Gramsci are drawn. The historical evolution of soft power tools is considered, and a brief historical analysis of the use of soft power in politics is given.

Keywords: soft power, constructivism, cultural policy, belief matrices, symbolic universes, cultural and political hegemony, levers of socio-cultural influence.

В современном мире одним из ведущих политических и социокультурных концептов, повсеместная реализация которого, по мнению его авторов и адептов, несомненно, должна обернуться резким всплеском благополучия во всем цивилизованном мире, является

«мягкая сила». Понятие «мягкой силы» было впервые введено в научный дискурс профессором Гарвардского университета Дж. Наем. Как считает ученый, сила государства фундируется не только материальными ресурсами в виде военной и экономической мощи (так называемой *hardpower*), но во многом зависит от использования «мягких» инструментов в политике. В реализации принципов «мягкой силы» важно оказание влияния на изменение приоритетов чужих стран и народов таким образом, чтобы «они захотели того, чего хотите вы, и вам не пришлось бы заставлять их изменить свое поведение» [1, с. 57].

Феномен «мягкой силы» может быть понят более полно, если взглянуть на него через призму теории конструктивизма, социальную теорию Бурдье и культурологическое направление Клиффорда Гирца. Кроме того, можно найти очень много общих черт между концепцией мягкой мощи Дж. Наея и теорией гегемонии Антонио Грамши.

По мнению конструктивистов, социальная реальность – это искусственно созданная матрица убеждений, с помощью которой люди интерпретируют окружающий их мир. При этом мировая политика, с точки зрения аппликации «мягкой силы», представляет собой конкуренцию этих матриц, когда альтернативные друг другу символические модели стараются не только формально завоевать «место под солнцем», но и, в исключительных случаях, пытаются так или иначе стереть враждебные им социокультурные структуры. Согласно К. Гирцу, все символические системы фундируются культурными образами. Символы являются отражением в нашем сознании объектов внешней реальности, тогда как культура снабжает человека определенными символами, помогающими ему ориентироваться в окружающем мире. Внутри себя человек имеет слишком мало шаблонов для организации культурного поведения, поэтому оно должно дополнительно направляться внешними источниками. Конкретные модели поведения человека регулируются не столько генетическими программами, сколько культурными шаблонами [2, с. 248]. При этом разные символические дискурсы не только мирно уживаются между собой, но и пытаются активно вытеснить «конкурентов».

По мнению Е. П. Пановой [3, с. 92], большую роль в данном «символическом соперничестве» играют вербальные «войны», так как люди в целом воспринимают реальность лишь через «очки» опре-

деленных лингвистических систем. П. Бурдьё в своих исследованиях социальных структур особое внимание уделяет процессам номинации, полагая, что политическая власть обладает уникальной возможностью «творить» социальный порядок. «Во многих архаических обществах власть облекалась в форму называть и давать жизнь вещам при помощи процесса номинации. Особенно ярко это проявлялось во времена кризисов. Так, способность творить символы приносила некоторым поэтам древности видные посты в аппарате управления (посты военачальников или послов)» [4, с. 462]. Он также непосредственно соединяет власть и слово: «Самая сильная власть является таковой до тех пор, пока она имеет возможность осуществлять в полной мере символическое насилие. Можно даже сказать, что данное насилие будет тем более эффективным, чем сильнее его проявления будут носить скрытый характер. При этом политик часто старается заручиться неким высшим одобрением» на свои действия, заявляя: «Бог с нами». Эквивалентом этого утверждения в наши дни стала фраза: «Общественное мнение с нами» [4, с. 69].

Власть слова проявляется, в том числе, в возможности воздействовать на других членов группы, применяя так называемое символическое насилие. Символический универсум интегрирует самые разные значения, существующие в повседневной жизни. Он также упорядочивает историю, иногда принудительно связывая коллективные события в единое целое, включающее прошлое, настоящее и будущее. По отношению к прошлому создается искусственная «память», объединяющая всех, кто социализирован в данной общности. Символические универсумы осуществляют исчерпывающую интеграцию всех разрозненных институциональных процессов, тогда как отдельные социальные институты и роли легитимируются благодаря их включению во всеобъемлющий смысловой мир. Например, политический порядок легитимируется благодаря его соотносению с космическим порядком власти и справедливости, а политические роли легитимируются в качестве репрезентаций этих космических принципов. Символический универсум не только легитимируется, но и видоизменяется с помощью концептуальных механизмов, создаваемых для того, чтобы отрицать вызов, брошенный девиантными (т.е. отклоняющимися в своем мировоззрении от установленных образцов символического универсума) группами.

В качестве последнего по времени и наиболее яркого примера навязывания аудитории своей картины мира через лингвистические (символические) структуры можно привести уже порядком поднадоевшую всему цивилизованному миру фразу «борьба с терроризмом». Ведь именно ее Соединенные Штаты Америки повсеместно использовали для того, чтобы заручиться формальной легитимизирующей поддержкой остальных стран во время планируемых военных операций против Афганистана и Ирака. Такое словосочетание ясно маркировало «плохие силы» (слово «терроризм» во всех языках однозначно имеет негативную коннотацию) и отделяло от них «хорошую» страну в лице Соединенных Штатов, которая ведет непримиримую борьбу с этой современной разновидностью «мирового зла». На этом основании можно сделать вывод, что первоначальный тезис о непринудительном характере «мягкой силы» является не вполне правомерным и исчерпывающим. Поскольку современная политика представляет собой арену конкурирующих между собой символических дискурсов, стремящихся навязать различным аудиториям собственные вербальные «фильтры» с помощью целого спектра сил и средств.

Можно считать, что теория «мягкой силы» Дж. Ная во многих чертах заимствует положения итальянского мыслителя Антонио Грамши о гегемонии. По мнению автора, механизм власти включает в себя не только принуждение, но и убеждение. Любое государство, безотносительно того, какой класс в данный момент является доминирующим, опирается на два фундаментальных столпа – силу и согласие. Если в обществе превалируют методы ненасильственного властвования, то такое положение дел может быть охарактеризовано как гегемония. Последняя, при этом, не является неким застывшим состоянием, а представляет собой тонкий и весьма лабильный процесс. Гегемония – это не просто пассивное согласие граждан, это активное желание того же, что нужно и самому правящему классу [5, с. 12–13.]. Гегемония, по мнению А. Грамши, выступает в качестве инструмента культурного господства буржуазии над остальным обществом. Само собой, буржуазия не только контролирует экономику и государственный аппарат, она также является и культурно доминирующей силой. Иными словами, сила буржуазии заключается не только в применении «жесткой» силы, но также и в использовании «мягкой» силы, в сочетании материальных факторов господства с идеологическими.

По Грамши, и установление, и подрыв гегемонии – «молекулярный» процесс. Он протекает не столько как столкновение классовых сил, но как невидимое, малыми порциями, изменение мнений и настроений в сознании каждого человека. Гегемония опирается на «культурное ядро» общества, которое включает в себя совокупность представлений о мире и человеке, о добре и зле, прекрасном и отвратительном, множество символов и образов, традиций и предрассудков, знаний и опыта многих веков. Пока это ядро стабильно, в обществе имеется «устойчивая коллективная воля», направленная на сохранение существующего порядка. Подрыв этого «культурного ядра» и разрушение этой коллективной воли – условие революции. Создание этого условия – «молекулярная» агрессия против культурного ядра. Это не изречение некой истины, которая совершила бы переворот в сознании, какое-то озарение. Это – огромное количество книг, брошюр, журнальных и газетных статей, разговоров и споров, которые без конца повторяются и в своей гигантской совокупности образуют то длительное усилие, из которого рождается коллективная воля, необходимая, чтобы получилось координированное и одновременное действие [6, с. 64–65].

Однако, находя общие черты между концепциями Грамши и Ная, можно прийти к следующему выводу: если гегемония Грамши – это «внутренняя» власть буржуазии над «своими» классами, то «мягкая сила» Ная – это стремление распространить собственные культурные и социальные ценности «вовне», на другие страны. Однако и в этом случае «мягкость» все равно будет означать несиловое воздействие.

Отличие «мягкой» силы от «жесткой» заключается не в непринудительной природе первой, а исключительно в формных основаниях этих двух инструментов навязывания своей воли. Если «жесткая» сила оперирует преимущественно военными и экономическими ресурсами, то «мягкая» сила, напротив, воздействует не на «тело» потенциального объекта управления, а на его культурно-символические образы. Так под влиянием критики конструктивистов, Дж. Най уже в середине 2000-х несколько изменил свои первоначальные взгляды. Он писал: «В использовании мягкой силы могут проследиваться элементы угроз и манипулирования. Тем не менее она оставляет большую свободу выбора, чем физическая сила» [7, с. 142]. Для того чтобы подорвать «культурное ядро» противни-

ка и заменить его своим «культурным ядром», надо воздействовать на обыденное сознание, повседневные, «маленькие» мысли среднего человека. И самый эффективный способ воздействия – неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли и стали принимать не разумом, а на веру. «Массы как таковые не могут усваивать философию иначе, как веру» [8, с. 38].

Второй немаловажный вопрос, который касается дефиниции пределов использования «мягкой власти», связан с выявлением наиболее эффективных инструментов ее аппликации. В современных условиях, в эпоху информационного общества, значительно изменяется природа политической власти; она перемещается в виртуальное пространство – в мир образов, имиджей и символов [9, с. 39]. Как отмечает Е. П. Панова, в таком случае со всей очевидностью встает вопрос о том, можно ли создать условия для использования «мягкой власти», при которых она имела бы более длительный эффект, и какие ресурсы, доступные государствам, могли бы это обеспечить. Как представляется, такие возможности у современного государства имеются и такие страны, как, например, США, на протяжении многих десятилетий их успешно используют [10, с. 157–161].

К наиболее эффективным инструментам исследователь относит образование, развитие социально-гуманитарного знания, а также активное использование так называемой публичной дипломатии. И если до недавнего времени основным средством идеологического воздействия на целевые страны было иновещание с помощью телеканалов («Russia Today», «CCCTV», «Al-Jazeera»), то теперь все большую роль начинают играть интернет-технологии, или так называемая публичная дипломатия 2.0. Этот термин впервые был использован заместителем госсекретаря США Дж. Глассманом в 2008 г. для обозначения нового подхода в рамках публичной дипломатии, предполагающего использование социальных сетей, блогов, игровых мобильных приложений в осуществлении внешнеполитических целей США [11]. Как справедливо замечает А. Н. Марчуков, «публичная дипломатия 2.0» представляет собой весьма перспективное направление в рамках публичной дипломатии, значение которого во внешнеполитической деятельности государств со временем будет только усиливаться.

Развитие информационно-коммуникативных технологий и растущая популярность в мире социальных медиа актуализируют не-

обходимость использования технологий Web 2.0 в дипломатической практике. Однако подобная деятельность не должна ограничиваться лишь наличием у внешнеполитических ведомств аккаунтов в социальных сетях и микроблогах; каждому государству необходимо иметь собственную стратегию развития «публичной дипломатии 2.0». Следует осознавать, что воздействовать на формирование общественного мнения за рубежом с помощью технологий Web 2.0 достаточно сложно; но, тем не менее, данный способ может быть весьма продуктивным в вопросе создания положительного образа государства за границей [12, с. 110]. По мнению О. Ф. Русаковой, другим проверенным инструментом мягкой гегемонии может являться массовое тиражирование продуктов поп-культуры той или иной страны [13, с. 174].

В 2008 г. Дж. Най в очередной раз скорректировал источники структуры «мягкой силы». Им были обозначены три основные составляющие этого вида политической мощи: внешняя политика, политические ценности (если внутренняя и внешняя политика государства коррелирует с ними), культура (куда входит и «массовая культура») [14, с. 96]. Касаясь вопроса эффективности каналов использования «мягкой силы», многие исследователи обращают внимание на то, что «с одной стороны, рост мировой напряженности, тотальная турбулентность предполагают осторожные коммуникации по проверенным тропам (традиционная дипломатия). С другой стороны, очевидно, что без открытых информационных платформ дипломатические каналы воздействия «мягкой мощи» практически обесцениваются. Цели, действия и результаты в сфере официальной дипломатии должны иметь PR-поддержку, в том числе через публичную дипломатию и т.н. «третий» (некоммерческий) сектор. Традиционную и публичную дипломатию (коммуникативные субструктуры которых существуют в медиапространстве) необходимо выделить как наиболее эффективные каналы распространения «мягкой мощи». Но они не самодостаточны: действия должны сопровождаться интернет-поддержкой, в частности через профильные виртуальные сети» [15, с. 148–149].

«Мягкая сила» как привлекательный образ той или иной страны, дающий возможность реализовывать политические интересы в других государствах, активно использовалась в разные исторические периоды и Римом, и Византией, и Британской империей, и Ки-

таем. Например, уже в XIX веке Британия с помощью таких инструментов пыталась отколоть от России ее национальные окраины, разыгрывая националистическую и религиозную карту. Как пишет А. Б. Мартиросян, личный агент влияния лорда Пальмерстона – Арминиус Вамбери – разработал (будучи советником у турецкого султана) по указанию из Лондона концепцию пантюркизма, используя которую, спровоцировал массовый исход черкесов и вайнахов из России в Османскую империю. Вамбери под видом дервиша, с целью противодействия России, пытался разжечь пламя мирюдизма в Средней Азии. В 70-х гг. XIX в. одному из руководителей британской разведки и члену Комитета 300, Уилферду Бланту пришлось в голову разработать концепцию панисламизма для противодействия России на Востоке [16, с. 11]. Однако только в XX веке использование «мягкой силы» превращается в осознанный, концептуально обоснованный и готовый к практическому применению инструмент, подкрепленный стремительным развитием телекоммуникационных технологий, позволяющих «вскрывать» национальные границы разных государств для воздействия на сознание «целевой» аудитории. «Мягкая сила» как политическое средство окончательно сформировалось в годы холодной войны: специфические особенности противостояния США и СССР, в первую очередь в идеологической сфере, без возможности решать свои задачи военными способами, как это было раньше, обусловили необходимость превращения «мягкой силы» в приоритетный способ реализации политических целей. Подлинный расцвет политика мягкой силы в США получила с падением социалистического лагеря во главе с СССР. Как отмечает С. Г. Кара-Мурза, к концу 80-х годов в политической практике США и их союзников была выработана и опробована новая технология целенаправленной дестабилизации и смены власти в самых разных странах без прямого насилия (так называемые бархатные революции) или с минимальным использованием насилия. «Бархатные революции» 1989 года были проведены по одному сценарию. Поскольку страны Восточной Европы экономически и политически были взаимосвязаны и составляли единый блок с СССР, то отказ СССР от роли геополитического лидера автоматически означал для этих стран переход под эгиду другого геополитического центра. Страны Восточной Европы были «сданы» советским руководством США. По настоянию Горбачёва была проведена замена пер-

вых лиц в политической системе этих стран, чтобы они не сопротивлялись сдаче Западу. Попытка отвергнуть это решение, которую оказал Чаушеску, закончилась его гибелью. Гораздо меньшая политическая зависимость Кубы, Северной Кореи, Вьетнама и Китая от СССР не позволила аналогичным образом поставить эти страны под контроль США. Для ликвидации независимого от СССР югославского государства, хотя и ориентированного на Россию, Западу пришлось разжечь там гражданскую войну и прибегнуть к агрессии, в ходе которой создали условия для проведения «бархатной» революции 2000 года [17, с. 155–156]. За последующие 12–13 лет эти технологии были доведены до высокой степени точности и надежности и в самое последнее время применены на территории бывшего СССР в республиках, тесно связанных с РФ (в Грузии, на Украине и в Киргизии). Как известно, в административной мудрости США есть формула: «Все, что технически возможно, реализуется».

За последние десятилетия различные государства по-разному пытались реализовать потенциал «мягкой силы» во внешней политике, что позволяет говорить о существовании нескольких различных стратегий ее использования. Наряду с традиционной (американской) принято выделять европейскую, советскую, японскую, российскую и китайскую стратегии использования «мягкой силы». «Названные стратегии можно условно разделить на «старые» (традиционные) и «новые» (современные).

В заключение хотелось бы отметить, что культура выступает важнейшей основой распространения «мягкой силы» [18, с. 30], поскольку именно культурная идентичность и обеспечивает формирование так часто упоминаемой привлекательности [19, с. 57]. Например, так называемые новые социокультурные ценности, пропагандируемые КНР, не только спланируют ханьцев по всему миру [20, с. 196–197], но и транслируют ценности китайской цивилизации на остальные страны, которые начинают относиться к Пекину с благожелательностью. В целом Китай использует два мощных наступательных инструмента для продвижения своего имиджа за рубежом. Во-первых, это образовательные программы, позволяющие активно привлекать в китайские университеты студентов со всего мира. Образование в современном мире – это один из самых оптимальных и интенсивных способов приобщения человека к ценностям той или иной культуры. Во-вторых, это позиционирование

себя как культурно-цивилизационной силы, способной стать альтернативой западной цивилизации [21, с. 1171–1202]. Можно с полным основанием утверждать, что после краха СССР, предлагавшего миру свою систему ценностей, данная ниша вполне может быть занята Китаем. Тем более Пекин делает ставку на достаточно привлекательную для многих стран «политику невмешательства» во внутренние дела своих соседей, «что в корне отличает китайскую дипломатию от американской и способствует сближению с традиционными стратегическими партнерами США – Таиландом и Филиппинами, руководство которых стало объектом критики американской администрации за нарушение прав человека» [15, с. 31].

Таким образом, мы можем сделать следующие важные выводы. Дискурс «мягкой силы» дает возможность без видимого применения прямого и жесткого давления использовать воздействие на ментальные структуры массового сознания. «Мягкая сила» опирается на искусственно сконструированные матрицы убеждений, с помощью которых люди интерпретируют окружающий их мир. Современная политика представляет собой арену конкурирующих между собой символических и культурных универсумов, стремящихся навязать различным аудиториям собственные знаковые «реальности». В отличие от «гегемонии» Грамши, «мягкая сила» – это, в первую очередь, не инструмент доминирования буржуазии, а государственный механизм трансляции и продвижения собственных культурных кодов «вовне» с помощью разных инструментов (публичная дипломатия, телевидение, Интернет и т. д.). В последние годы различные государства по-разному пытались реализовать потенциал «мягкой силы» в политике, что позволяет говорить о существовании нескольких различных политических и социокультурных стратегий ее использования. На основании всего вышеизложенного можно заключить, что «мягкая сила» останется важнейшим инструментом аппликации власти в современном социокультурном пространстве.

Библиографический список

1. Русакова О. Ф. Дискурс soft-power во внешней политике // Вестник ЮУрГУ. 2012. № 32 (291).
2. Гирц К. Интерпретация культур. М.: Россмэн, 2004. 560 с.

3. Панова Е. П. Сила привлекательности: «использование «мягкой силы в мировой политике // Вестник МГИМО. 2010.
4. Бурдые П. Социология политики : пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1993. 336 с.
5. Грамши А. Тюремные тетради. Часть первая. М.: Изд-во политической литературы, 1991. 560 с.
6. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 832 с.
7. Joseph Nye. The Powers to Lead. Oxford University Press, 2008.
8. Голобородько, А.Ю. Имидж страны в мировом информационном пространстве: к вопросу о «мягкой силе» влияния // Вестник ПАГС. 2–13.
9. Панова Е. П. Высшее образование как потенциал мягкой власти государства // Вестник МГИМО Университета. 2011. № 2 (16).
10. Glassman, J. K. Public Diplomacy 2.0: A New Approach to Global Engagement / J. K. Glassman. URL: <http://2001-2009.state.gov/r/us/2008/112605.htm>. Title from screen.
11. Марчуков А. Н. Публичная дипломатия 2.0» как инструмент внешнеполитической деятельности // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 4. Ист. 2014. № 4 (28).
12. Русакова О. Ф. Концепт «мягкой силы» в современной политической философии // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2010. Вып. 10.
13. Nye J. Public Diplomacy and Soft Power // The Annals of the American Science Academy of Political and Social. March 2008.
14. Изотов В. С. «Мягкая мощь»: обновленный теоретический концепт и российская модель для сборки // Вестник РУДН, серия Политология. 2011. № 4.
15. Мартиросян А. Б. За кулисами Мюнхенского сговора. Кто привел войну в СССР? М.: Вече, 2008. 608 с.
16. Кара-Мурза С. Г. Экспорт революции. Ющенко, Саакашвили... М.: Изд-во Алгоритм, 2005. 528 с.
17. Федотова Н. Н. Анализ культурных ресурсов: мягкая мощь и идентичность // Философия и современность. 2016. № 4.
18. Мефодьева С. А. Практики китайских и российских СМИ в распространении «мягкой силы государств» (на примере их освещения в CCTV NEWS и RT) // Власть. 2019. № 1.
19. Wilson J. L. Soft Power: A Comparison of Discourse and Practice in Russia and China // Europe and Asia Studies. 2015. Vol. 67. No. 8.
20. Рогожина Н. Г. «Мягкая сила» в политике Китая в странах Юго-Восточной Азии // Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития. 2017. Вып. XXXIV (№ 34).

References

1. Rusakova O. F. Soft-power Discourse in foreign policy. *Bulletin of SUSU*, 2012, no. 32 (291).
2. Geertz K. *Interpretation of cultures*. Moscow, Rossman, 2004, 560 p.
3. Panova E. P. The power of attractiveness: "using" soft power in world politics. *Bulletin of MGIMO*, 2010.
4. Bourdieu P. Sociology of politics / trans. with fr. Moscow, Socio-Logos, 1993, 336 p.
5. Gramsci A. *Prison notebooks. Part one*. Moscow, Publishing house of political literature, 1991, 560 p.
6. Kara-Murza S. G. Manipulation of consciousness. Moscow, EKSMO-Press, 2001, 832 p.
7. Joseph Nye. The Powers to Lead. Oxford University Press, 2008.
8. Goloborodko A. Yu. Image of the country in the world information space: on the issue of "soft power" of influence. *Vestnik PAPS*, 2–13.
9. Panova E. P. Higher education as a potential of soft power of the state. *Bulletin of MGIMO*, 2011, no. 2 (16).
10. Glassman J. K. Public Diplomacy 2.0: A New Approach to Global Engagement. Available at: <http://2001-2009.state.gov/r/us/2008/112605.htm>. Title from screen.
11. Marchukov A. N. Public diplomacy 2.0 "as an instrument of foreign policy activity". *Bulletin of the Volgograd state University. Ser. 4, ist.*, 2014, no. 4(28).
12. Rusakova O. F. the Concept of "soft power" in modern political philosophy. *Scientific Yearbook of The Institute of philosophy and law of the Ural branch of the Russian Academy of Sciences*, 2010, vol. 10.
13. Nye J. Public Diplomacy and Soft Power. *The Annals of the American Science Academy of Political and Social*, March 2008.
14. Izotov V. S. "Soft power": the updated theoretical concept and the Russian model kit. *Bulletin of RUDN, political Science series*, 2011, no. 4.
15. Martirosyan A. B. *Behind the scenes of the Munich conspiracy. Who brought the war to the USSR?* Moscow, Veche, 2008, 608 p.
16. Kara-Murza S. G. *Export of the revolution. Yushchenko, Saakashvili...* Moscow, Algorithm Publishing house, 2005, 528 p.
17. Fedotova N. N. Analysis of Cultural resources: soft power and identity. *Philosophy and modernity*, 2016, no. 4.
18. Mefodeva, S. A. Practices of Chinese and Russian media in spreading the "soft power of States" (on the example of their coverage in CCTV NEWS and RT). *Power*, 2019, no. 1.
19. Wilson, J. L. Soft Power: A Comparison of Discourse and Practice in Russia and China. *Europe and Asia Studies*, 2015, vol. 67, no. 8.
20. Rogozhina N. G. "Soft power" in China's policy in the countries of South-East Asia. *South-East Asia: Actual problems of development*, 2017, iss. XXXIV (# 34).

ПЕДАГОГИКА

УДК 378.147

DOI: 10.34130/2233-1277-2020-1-186-197

Е. Л. Егорова, Е. Н. Сибиркина

СГУ им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар

Модульно-компетентностный подход в проектировании основной профессиональной программы высшего образования на основе этнокультурного содержания (на примере основной профессиональной образовательной программы высшего образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование)

В статье описывается разработанный модуль профильной подготовки «Педагогическая деятельность по этнокультурному образованию детей дошкольного возраста» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования. Особенностью предлагаемого модуля являлось рассмотрение его содержания как этнопедагогического компонента в рамках историко-культурных традиций народа коми. Представленные в статье материалы позволяют использовать разработанное содержание модуля с целью формирования этнокультурной компетентности обучающихся как основы эффективного этнокультурного образования детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: *основная профессиональная образовательная программа высшего образования, этническая культура, этнокультурное образование, этнокультурная компетентность.*

Е. Л. Egorova, E. N. Sibirkina

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar

Module-Competency Building Approach in Design of the Main Professional Higher Education Program on Ethnocultural Content (as Exemplified by the Main Professional Program of Higher Education 44.03.02 Psychological and Pedagogical Education)

The article describes the developed module of the profile training "Pedagogical activity in the ethnocultural education of preschool children" of the main professional educational program of higher education. The peculiarity of the proposed module was the consideration of its content as the ethno-pedagogical component within the framework of the historical and cultural traditions of the Komi people. The materials presented in the article make it possible to use the developed content of the module in order to form the ethnocultural competence of students as the basis for effective ethnocultural education for children of preschool age.

Keywords: *the main professional educational program of higher education, ethnic culture, ethnocultural education, ethnocultural competence.*

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций является приоритетной целью Национального проекта РФ «Образование» (созданного по Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 № 204) [1, с. 2].

Одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, зафиксированных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, является принцип «единства образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» [2, с. 3].

Приоритетной целью этнокультурного образования в Республике Коми, согласно Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016–2020 гг. (приказ Министерства образования Республики Коми № 255 от 23.11.2015 г.), выступает формирование современного регионального образовательного пространства, обеспечивающего общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся за счет использования педагогического потенциала этнокультурного образования. В данной

концепции этнокультурное образование детей и молодежи рассматривается как важнейший способ передачи знаний подрастающему поколению и возможность сохранения и развития этнической самобытности народа, формирование гражданско-национальной идентичности [3].

Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов дошкольного образования в области проектирования и реализации этнокультурного компонента содержания в работе с дошкольниками становится результатом реализации стратегических документов как федерального, так и регионального уровня.

Педагог и родители, по мнению психологов и педагогов, способны стать трансляторами этнокультурных знаний и опыта. Е. С. Бабунова отмечает, что именно педагог, по праву своей общественно значимой деятельности должен донести до ребенка этнокультурный опыт народа [4, с.46]. Данная мысль прослеживается и в трудах А. Б. Афанасьевой, которая указывает, что «обладание этнокультурной компетентностью и проблемы ее формирования имеют особую значимость для педагогов, так как своей профессиональной деятельностью они осуществляют процесс трансляции культуры в обществе» [5, с. 191].

Этнокультурная компетентность педагогов является важной составляющей в структуре общей профессиональной компетентности. Этнокультурная компетентность как объективно-субъективное явление включает в себя готовность студента изучать различные культуры с целью комфортного существования в полиэтнической среде, преодоления узости кругозора, постижения взаимовлияния народов. Формирование этнокультурной компетентности предполагает изначальное введение личности в родную культуру, а затем и в иные [6].

Проблемой этнокультурной подготовки педагогов занимались А. Б. Афанасьева [7], Е. С. Бабунова [8], Г. Н. Волков [9], Б. С. Гершунский [10], Н. В. Кузьмина [11], Г. Н. Сериков [12] и другие.

Изучение психолого-педагогической литературы и анализ практики работы образовательных организаций позволили определить необходимость поиска ответов на нерешенные вопросы по проектированию и реализации основ становления этнокультурной компетентности будущих педагогов дошкольного образования и трансляции этнокультурного содержания в практику работы с детьми дошкольного возраста в Республике Коми. Становится ак-

туальным разрешением противоречия между потребностями современного общества в педагоге-трансляторе этнической культуры и возможностями проектирования и реализации содержания профессиональной подготовки по основной профессиональной образовательной программе высшего образования с включением модуля этнокультурной направленности.

Выявленное противоречие позволило обозначить цель исследования, которая заключается в поиске эффективных организационно-педагогических условий проектирования модуля этнокультурного содержания в основной профессиональной образовательной программе высшего образования по подготовке педагогов дошкольного образования.

В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретические (анализ; синтез; конкретизация; обобщение; моделирование); диагностические (анкетирование; тестирование); эмпирические (изучение опыта работы образовательных организаций; нормативной и учебно-методической документации, педагогический эксперимент).

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина».

Исследование проводилось в четыре этапа. На первом этапе обосновывалась актуальность проблемы исследования, определялась тема и формулировка методологического аппарата исследования.

На втором этапе осуществлялся теоретический анализ существующих методологических подходов в психолого-педагогической, этнографической, научной литературе, диссертационных работах по проблеме, а также теории и методики педагогических исследований.

На третьем этапе осуществлялась опытно-экспериментальная работа, включающая диагностический и проектировочный (преобразующий) этапы педагогического эксперимента.

На четвертом этапе осуществлялся анализ результатов опытно-экспериментальной работы, формулирование выводов.

На основе критериев и показателей этнокультурной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации, предлагаемой Е. С. Бабуновой, нами было проведено анкетирование обучающихся (будущих педагогов дошкольного образования). Целью анкетирования было выявление этнокультурной компетент-

ности обучающихся в вопросах воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста с учетом историко-культурного своеобразия региона (Республики Коми). Вопросы анкеты были сгруппированы по трем критериям: информационно-познавательный, эмоционально-ценностный, действенно-практический. Всего исследованием было охвачено 93 респондента.

Анализ анкет показал следующие результаты по информационно-познавательному критерию: 27 % респондентов владеют знаниями специфики культуры и традиций народа коми, 10 % респондентов интересуются культурой своего региона, хотят глубже узнать специфику и своеобразие культуры народа коми. По эмоционально-ценностному критерию результаты были достаточно средними, так 47 % респондентов считают этнокультуру ценностью, необходимой для использования в профессиональной деятельности, и убеждены в необходимости сохранения и передачи этнокультурного наследия детям. Результаты по действенно-практическому критерию были продемонстрированы как низкие (т. е. ниже достаточного уровня) – только 8 % респондентов готовы, по их мнению, к участию в этнокультурных мероприятиях с детьми.

Таким образом, большинство респондентов (82 %) затрудняются в определении сущностной характеристики этнокультурного образования, средств, методов и приемов воспитания детей в поликультурной среде, моделировании системы этнокультурного образования дошкольников и организации взаимодействия с родителями по этнокультурному образованию, но при этом выразили готовность к интеграции этнокультурных традиций в образовательный процесс дошкольной образовательной организации.

Необходимость формирования этнокультурной компетентности у будущих педагогов потребовала проектирования основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Педагогика и психология дошкольного образования») с включением содержания этнокультурной составляющей, направленной на изучение и практическое овладение ценностями народной культуры, воспитания личности в этнокультурных традициях.

В рамках проектирования основной профессиональной образовательной программы высшего образования был разработан мо-

дуль профильной подготовки «Педагогическая деятельность по этнокультурному образованию детей дошкольного возраста» (см. рисунок 1). Особенностью предлагаемого модуля являлось рассмотрение его содержания как этнопедагогического компонента в рамках историко-культурных традиций народа коми.

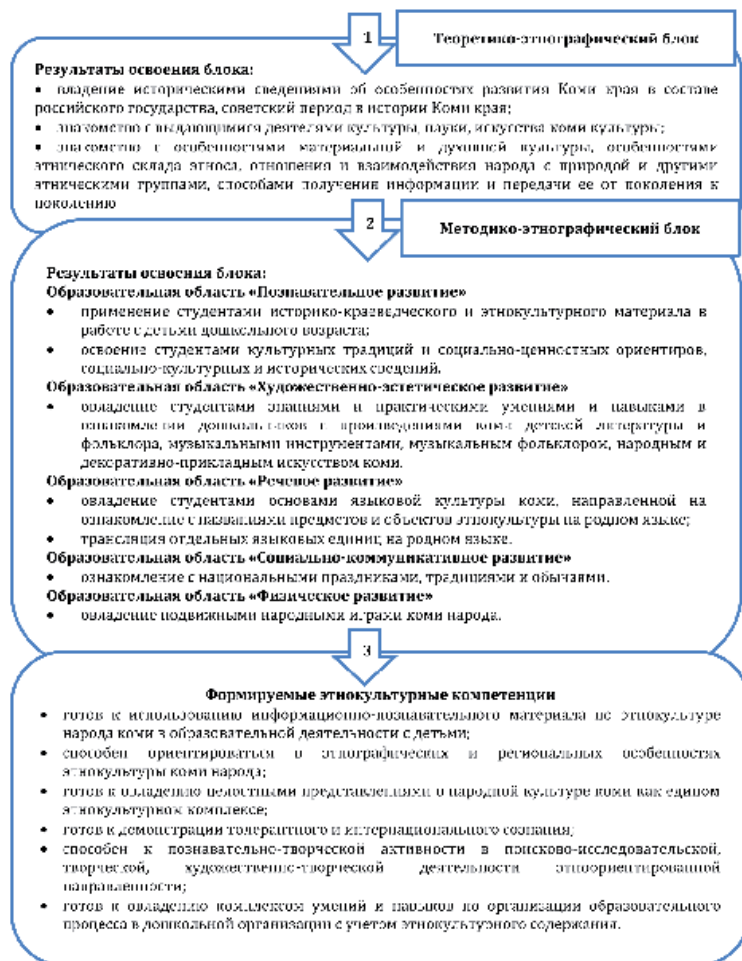


Рисунок 1. Модуль профильной подготовки
«Педагогическая деятельность по этнокультурному образованию детей
дошкольного возраста»

Теоретико-методологическими подходами проектирования модуля профильной подготовки явились:

- системно-деятельностный подход;
- культурологический подход;
- этнокультурный подход.

Результаты освоения модуля были направлены на становление и обогащение трех компонентов этнокультурной компетентности: информационно-познавательного, эмоционально-ценностного, действенно-практического.

Основными результатами освоения модуля являлись:

- интерес студентов к информационно-познавательному материалу по этнокультуре народа коми;
- ориентирование в этнографических и региональных особенностях культуры коми народа, овладение целостными представлениями о народной культуре коми как едином этнокультурном комплексе;
- становление (наличие) толерантного и интернационального сознания;
- становление познавательно-творческой активности студентов через включение их в поисково-исследовательскую, проектную, художественно-творческую деятельность этноориентированной направленности;
- комплекс знаний, умений, навыков по организации образовательного процесса в дошкольной организации с учетом этнокультурного содержания.

Принципами проектирования и реализации модуля являлось:

- научность - соответствие содержания этнокультурного образования уровню развития современной психолого-педагогической науки;
- систематичность – последовательное пошаговое изучение этнокультурного содержания, от особенностей материальной и духовной культуры до способов получения информации и передачи ее от поколения к поколению;
- интегративность – взаимопроникновение и единство целей, задач, содержания и методики этнокультурного образования;
- блочность – этнокультурное содержание каждого учебного курса представлено целостно, завершено, полно и логично в виде блоков;

- трансферность – практическая направленность и возможность передачи этнокультурного содержания в процессе профессионально-педагогической деятельности будущего педагога;
- вариативность – взаимозаменяемость и подвижность блоков и тем внутри каждого элективного курса;
- гибкость – изменение, дополнение и включение новых учебных курсов с этнокультурным содержанием с учетом интересов и потребностей общества;
- культуротворчество – сохранение, созидание ценностных отношений в обществе и становление культурной личности.

Особенностью разработки программ дисциплин, входящих в состав модуля этнокультурной направленности, является блочное планирование содержания, в котором выделяются теоретико-этнографический и методико-этнографический блоки.

В теоретико-этнографическом блоке модуля раскрываются вопросы историко-культурного краеведения и этнографии народа коми. В методико-этнографическом блоке модуля рассматриваются вопросы этнокультурного воспитания и образования дошкольников.

Содержание предполагает практическую работу студентов, направленную на разработку содержания, методов и методических приемов, форм организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по реализации этнокультурного содержания в различных видах детской деятельности.

Такая структурированность содержания модуля основной профессиональной образовательной программы высшего образования позволила последовательно и планомерно формировать у будущих педагогов дошкольного образования целостное представление о традиционной этнокультуре народа коми и ее возможностях в приобщении ребенка-дошкольника к этнокультуре социума.

В ходе реализации модуля этнокультурной направленности основной профессиональной образовательной программы высшего образования для нас важно было увидеть и проанализировать динамику сформированности этнокультурной компетентности обучающихся при определении организационно-педагогических условий. В процессе проектировочного (преобразующего) этапа были проанализированы изменения по трем обобщенным критериям и их показателям (по аналогии с диагностическим этапом педагогического эксперимента).

Анализ данных по изменению уровня этнокультурной компетентности обучающихся показал, что по информационно-познавательному критерию 67 % респондентов знают специфику культуры и традиций народа коми, сущностные характеристики этнокультурного образования детей, средства, методы и приемы воспитания детей в поликультурной среде; 63 % респондентов интересуются культурой своего региона, осознают необходимость интеграции народных традиций в образовательный процесс детского сада; 70 % респондентов знают специфику педагогической работы в поликультурной образовательной среде, средства, методы и приемы интеграции этнокультурных традиций в образовательный процесс дошкольной образовательной организации.

По эмоционально-ценностному критерию результаты также повысились: 87 % респондентов считают этнокультуру ценностью, необходимой для использования в профессиональной деятельности, и убеждены в необходимости сохранения и передачи этнокультурного наследия детям, осознают важность воспитания детей в духе этнокультурных традиций региона.

Результаты по действенно-практическому критерию тоже стали выше: 69 % респондентов проявили способность моделировать систему этнокультурного образования дошкольников, продемонстрировали умения в подборе и разработке дидактических материалов по этнокультуре региона для детей дошкольного возраста, использованию различных форм, средств и методов этнокультурного образования детей; 73 % респондентов способны организовывать взаимодействие с родителями воспитанников по этнокультурному образованию.

Таким образом, существенная положительная динамика по трем обобщенным критериям и их показателям сформированности этнокультурной компетентности обучающихся свидетельствует об эффективности реализованных организационно-педагогических условий:

1. Теоретическое обоснование, проектирование и апробация модуля этнокультурного содержания в основной профессиональной образовательной программе высшего образования, включающего цель и задачи, принципы, содержание, формы, методы, методические приемы обучения.

2. Блочное проектирование содержания модуля, включающее теоретико-этнографический и методико-этнографический блоки, обеспечивающее поэтапное и системно-деятельностное изучение историко-этнографического материала региона, психолого-педагогических и методических аспектов освоения элементов этнокультуры обучающимися.

3. Методическое сопровождение становления компетентностного и деятельного компонентов этнокультурной образованности личности будущих педагогов.

Учитывая результаты исследований искусствоведов и этнографов по вопросам этнической культуры коми, можно утверждать, что элементы этнокультуры имеют неопределимое значение для становления и развития личности в педагогическом процессе образовательных учреждений Республики Коми, поскольку отражают мировосприятие народа, его ценности и идеалы, представления о красоте и совершенстве форм.

На основе этого важным становится подготовка кадрового потенциала Республики Коми – осведомленного, владеющего, познающего, имеющего опыт деятельности в области этнокультурного образования.

В качестве содержания этнокультурного образования, направленного на формирование этнокультурной компетенции обучающихся по профилю «Педагогика и психология дошкольного образования» в рамках проектирования основной образовательной программы высшего образования, может выступать модуль профильной подготовки «Педагогическая деятельность по этнокультурному образованию детей дошкольного возраста».

Этнокультурная и краеведческая направленность в новых модулях профильной подготовки будет способствовать воспитанию и социализации личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального государства, способного к самоопределению в условиях глобализации.

Библиографический список

1. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года : указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204.

2. Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018)
3. Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016–2020 гг. URL: http://dsov8businsc.ucoz.ru/images/konceptcija_razvitiija_ethnokulturnogo_obrazovanija.pdf
4. Бабунова Е. С. Педагогическая стратегия становления этнокультурной образованности детей дошкольного возраста : монография 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2015.
5. Афанасьева А. Б. Воспитание этнотолерантности подростка в семье : словарь / под общ. ред. А. Г. Козловой. СПб.: Нестор, 2005. 316 с. (Серия: В помощь классному руководителю).
6. Поштарева Т. В. Формирование этнокультурной компетентности. URL: <http://www.narodru.ru/smi2490.html>.
7. Афанасьева А. Б. Этнокультурное образование: сущность, структура содержания, проблемы совершенствования // Проблемы педагогики и психологии. 2009. № 3. С. 189–194.
8. Бабунова Е. С. Педагогическая стратегия становления этнокультурной образованности детей дошкольного возраста : автореф. дис. ... док. пед. наук. Челябинск, 2009. 46 с.
9. Волков Г. Н. Традиционная культура воспитания в подготовке учителя // Пути совершенствования подготовки педагогических кадров : матер. респ. науч.-практ. конф. Чебоксары, 1990. С. 20–23.
10. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века (В поисках практика-ориентированных образовательных концепций). М.: Совершенство, 1998. 608 с.
11. Кузьмина Н. В. Акмеологический подход к повышению качества подготовки специалистов образования // Изв. Рос. Акад. образования. 2000. № 1. С. 19–29.
12. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. М., 1999. 272 с.

References

1. Ukaz Prezidenta RF ot 7 maya 2018 g. № 204 «O nacional'nyh celyah i strategicheskikh zadachah razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2024 goda» [Presidential Decree of May 7, 2018 No. 204 “On the national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024”]. (accessed 23.06.2019)
2. Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 № 273-FZ (red. ot 27.06.2018) «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» [Federal Law of 29.12.2012 No. 273-FZ (as amended on 27.06.2018) “On education in the Russian Federation”].
3. Konceptiya razvitiya etnokul'turnogo obrazovaniya v Respublike Komi na 2016–2020 gg. [The concept of development of ethnocultural education

in the Komi Republic for 2016–2020]. Available at: http://dsov8usinsc.ucoz.ru/images/koncepcija_razvitiya_etnokulturnogo_obrazovaniya.pdf (accessed 23.06.2019)

4. Babunova E. S. *Pedagogicheskaya strategiya stanovleniya etnokul'turnoj obrazovannosti detej doshkol'nogo vozrasta* [Pedagogical strategy of the formation of ethno-cultural education of preschool children]. Moscow, Flinta, 2015, 373 p. (In Russ.)

5. Afanas'eva A. B. *Vospitanie etnotolerantnosti podrostka v sem'e* [Ethnocultural education: essence, structure of content, problems of improvement]: Slovar' / pod obshch. red. A. G. Kozlovoj / Seriya: V pomoshch' klassnomu rukovoditel'yu. Saint-Petersburg, Nestor, 2005, 316 p. (In Russ.)

6. Poshtareva T. V. *Formirovanie etnokul'turnoj kompetentnosti* [Formation of ethnocultural competence]. Available at: <http://www.narodru.ru/smi2490.html>. (accessed 23.06.2019)

7. Afanas'eva A. B. Etnokul'turnoe obrazovanie: sushchnost', struktura sodержaniya, problemy sovershenstvovaniya [Educating teenager's ethnotolerance in the family]. *Problemy pedagogiki i psihologii*, 2009, № 3, pp. 189–194. (In Russ.)

8. Babunova E. S. *Pedagogicheskaya strategiya stanovleniya etnokul'turnoj obrazovannosti detej doshkol'nogo vozrasta: Avtoref. cand. diss.* [Pedagogical strategy of the formation of ethnocultural education of preschool children]. Chelyabinsk, 2009, 46 p. (In Russ.)

9. Volkov G. N. *Tradicionnaya kul'tura vospitaniya v podgotovke uchiteley* [Traditional culture of education in the teacher's training]. *Puti sovershenstvovaniya podgotovki pedagogicheskikh kadrov: mater, resp. nauch.-prakt. konf.* Cheboksary, 1990, pp. 20–23. (In Russ.)

10. Gershunskij B. S. *Filosofiya obrazovaniya dlya XXI veka (V poiskah praktika-orientirovannykh obrazovatel'nykh koncepcij)* [Philosophy of education for the XXI century (In search of practice-oriented educational concepts)]. Moscow, Sovershenstvo, 1998, 608 p. (In Russ.)

11. Kuz'mina N. V. *Akmeologicheskij podhod k povysheniyu kachestva podgotovki specialistov obrazovaniya* [Acmeological approach to improving the quality of training of education specialists]. *Izv. Ros. Akad. obrazovaniya*, 2000, № 1, pp. 19–29. (In Russ.)

12. Serikov V. V. *Obrazovanie i lichnost'. Teoriya i praktika proektirovaniya pedagogicheskikh system* [Education and personality. Theory and practice of designing pedagogical systems]. Moscow, 1999, 272 p. (In Russ.)

Сведения об авторах

Абдуллаев Сайфулла Нурмухамедович, доктор филологических наук, профессор; профессор Исык-Кульского государственного университета (г. Каракол, Кыргызская Республика), e-mail: Abdullaev.sayfullah@gmail.com

Abdullaev Sayfulla Nurmukhamedovich, Doctor of Philological Sciences, Professor of Issil-Kul State University (Karakol, Kirghiz Republic), _Abdullaev.sayfullah@gmail.com

Абдуллаева Гюзаль Сайфуллаевна, учитель средней школы № 5 г. Каракол (г. Каракол, Кыргызская Республика), e-mail: Abdullaeva.giuzyalya@mail.ru

Abdullaeva Giuzyal Sayfullaevna, Teacher of Karakol secondary school # 5 (Karakol, the Kirghiz Republic), e-mail: Abdullaeva.giuzyalya@mail.ru

Гаузер Ирина Владимировна, аспирант Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского (г. Ярославль, Россия), e-mail: gauzeririna@gmail.com

Gauzer Irina Vladimirovna, Postgraduate student of Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky (Yaroslavl, Russia), e-mail: gauzeririna@gmail.com

Егорова Елена Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного образования СГУ им. Питирима Сорокина (г. Сыктывкар, Россия), e-mail: egorova_e_l@mail.ru

Yegorova Elena Leonidovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Institute of Pedagogy and Psychology, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (Syktyvkar, Russia), e-mail: egorova_e_l@mail.ru

Зыков Сергей Николаевич, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры дизайна Удмуртского государственного университета (г. Ижевск, Россия), e-mail: zikov.sergei@yandex.ru

Zykov Sergei Nicolaevich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Design, Udmurt State University (Izhevsk, Russia), e-mail: zikov.sergei@yandex.ru

Зюзов Николай Федосеевич, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и педагогической антропологии СГУ им. Питирима Сорокина; научный руководитель Международного центра социальных исследований (г. Сыктывкар, Россия), e-mail: nzyuzev@gmail.com

Zyuzev Nikolay Fedoseevich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of Cultural Studies and Pedagogical Anthropology Department, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (Syktyvkar, Russia), Head of the International Center for Social Research, e-mail: nzyuzev@gmail.com

Земцова Ирина Вениаминовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства института культуры и искусства Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, Народный мастер России (Сыктывкар, Россия), e-mail: zemtsova56@mail.ru

Zemtsova Irina Veniaminovna, PhD, Professor, The Department of Arts and Crafts, The Institute of Culture and Art, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University. Member of the Union of Russian Artists (Syktyvkar, Russia), e-mail: zemtsova56@mail.ru

Иванищева Ольга Николаевна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного университета (г. Мурманск, Россия), e-mail: oivanishcheva@gmail.com

Ivanishcheva Olga Nikolaevna, Doctor of Philology, Professor, Professor of the Philology and Media-Communications Department of the FGBOU VO "Murmansk Arctic State University" (Murmansk, Russia), e-mail: oivanishcheva@gmail.com

Игаева Ксения Владимировна, научный сотрудник Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет) (г. Нижний Новгород, Россия), e-mail: Igaeva.ksenia@yandex.ru

Igaeva Ksenia Vladimirovna, Research Associate of Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University) (Nizhny Novgorod, Russia), e-mail: Igaeva.ksenia@yandex.ru

Йокела Тимо, профессор художественного образования Факультета искусства и дизайна Лапландского Университета, руководитель тематической сети «Арктическое устойчивое развитие и дизайн» (Рованиеми, Финляндия), e-mail: timo.jokela@ulapland.fi

Jokela Timo, Professor of Art Education in the Faculty of Art and Design, University of Lapland, Finland and leader of Thematic Network on Arctic Sustainable Art and Design (Rovaniemi, Finland), e-mail: timo.jokela@ulapland.fi

Коуттс Глен, профессор художественного образования в сфере визуального искусства факультета искусств и дизайна Лапландского Университета (Рованиеми, Финляндия).

Coutts Glen, Professor of Applied Visual Arts Education, Faculty of Art and Design, University of Lapland (Rovaniemi, Finland).

Мангоне Эмилиана, доктор социологии, профессор социологии, культуры и коммуникации университета Салерно, директор международного исследовательского центра «Средиземноморское знание» (Италия, Салерно); e-mail: emangone@unisa.it

Mangone Emiliana, Doctor of Sociology, Associate Professor, Department of Political and Communication Sciences, University of Salerno, Italy, e-mail: emangone@unisa.it

Маленко Сергей Анатольевич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии, культурологии и социологии Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород, Россия), e-mail: olenia@mail.ru

Malenko Sergey Anatolyevich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Department of Philosophy, Cultural Studies and Sociology, Yaroslav-the-

Wise Novgorod State University, Novgorod State University (Veliky Novgorod, Russia), e-mail: olenia@mail.ru.

Некита Андрей Григорьевич, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, культурологии и социологии Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, Россия), e-mail: beresten@mail.ru

Nekita Andrey Grigoryevich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Professor of the Department of Philosophy, Cultural Studies and Sociology, Yaroslav-the-Wise Novgorod State University (Novgorod, Russia), e-mail: beresten@mail.ru

Пичко Наталья Сергеевна, кандидат культурологии, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных, общепрофессиональных и естественно-научных дисциплин; Филиал Ухтинского государственного технического Университета в г. Усинске (г. Усинск, Россия), e-mail: natpichko@yandex.ru

Pichko Natalya Sergeevna, Candidate of Cultural Studies, Assistant Professor. Head of the Department of Humanitarian, Professional and Scientific Disciplines. Usinsk branch of Ukhta State Technical University (Usinsk, Russia), e-mail: natpichko@yandex.ru

Сарантоу Мелани, старший научный сотрудник Лапландского Университета (Рованиеми, Финляндия), e-mail: Melanie.Sarantou@ulapland.fi

Sarantou Melanie, Senior Researcher at the University of Lapland, (Rovaniemi, Finland), e-mail: Melanie.Sarantou@ulapland.fi

Сибиркина Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры дошкольного образования Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина (г. Сыктывкар, Россия), e-mail: sibirkinaen@mail.ru

Sibirkina Elena Nicolaevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Institute of Pedagogy and Psychology, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University (Syktyvkar, Russia), e-mail: sibirkinaen@mail.ru

Смирнов Василий Андреевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, культурологии и социологии Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, Россия), e-mail: novtransa2010@yandex.ru

Smirnov Vasily Andreevich, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy, Cultural Studies and Sociology, Novgorod State University named after Yaroslav the Wise (Novgorod, Russia), e-mail: novtransa2010@yandex.ru

Стороженко Наталия Викторовна, аспирант Института философии РАН (г. Москва, Россия), e-mail: storozhenko@yandex.ru

Storozhenko Nataliia Viktorovna, post-graduate degree student at RAS Institute of Philosophy (Moscow, Russia), e-mail: storozhenko@yandex.ru

Тимошук Алексей Станиславович, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний (ВЮИ ФСИН) (г. Владимир, Россия), e-mail: human@vui.vladinfo.ru

Timoshchuk Alexey Stanislavovich, Doctor of Philosophy, Associate Professor, Professor, Department of Humanities and Socio-Economic Disciplines, VLI of FPS (Vladimir Russia), e-mail: human@vui.vladinfo.ru

Хухмарниemi Мария, профессор художественного образования и прикладного визуального искусства факультета искусств и дизайна Лапландского Университета (Рованиemi, Финляндия).

Huhmarniemi Maria, Professor of Art Education and Applied Visual Art, Faculty of Art and Design, University of Lapland (Rovaniemi, Finland).

Шмелева Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры философии и общественных наук Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет) (г. Нижний Новгород, Россия), e-mail: shmelevanv@mail.ru

Shmeleva Natalia Vladimirovna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of Department of Philosophy and Social Sciences at Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University), (Nizhny Novgorod, Russia), e-mail: shmelevanv@mail.ru

Яркова Елена Владиленовна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры дизайна Удмуртского государственного университета (г. Ижевск, Россия), e-mail: evladi@list.ru

Yarkova Elena Vladilenovna, Candidate of Fine Arts , Professor, Associate professor at the Department of Design, Udmurt State University (Izhevsk, Russia), e-mail: evladi@list.ru

Периодическое издание

Человек. Культура. Образование

Научно-образовательный и методический журнал

№ 1(35) 2020

Редактор *Л. В. Гудырева*

Корректор *Е. М. Насирова*

Верстка и компьютерный макет *А. А. Ергаковой*

Выпускающий редактор *Л. Н. Руденко*

Подписано в печать 12.03.2020. Дата выхода в свет 27.03.2020.

Печать ризографическая. Гарнитура Cambria.

Бумага офсетная. Формат 60×84/16.

Усл. п. л. 11,6. Уч.-изд. л. 11,0.

Заказ № 35. Тираж 500 экз.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в Коми республиканской типографии

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Савина, 81